

И. Л. СОЛОНЕВИЧ

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ



Иван Солоневич

Россия в концлагере (сборник)

Издательство «РИМИС»

2005

Солоневич И. Л.

Россия в концлагере (сборник) / И. Л. Солоневич — Издательство «РИМИС», 2005

Автобиографические очерки выдающегося российского публициста Ивана Лукьяновича Солоневича «Россия в концлагере» – одно из лучших произведений в российской литературе 20 века. Незаслуженно забытое, оно гораздо менее известно в России, чем за ее пределами, и цель настоящего издания – познакомить российского читателя с этой частью культурно-исторического наследия нашей страны. При подготовке публикации максимально сохранены авторские орфография и пунктуация. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

© Солоневич И. Л., 2005

© Издательство «РИМИС», 2005

Содержание

Предисловие	5
Биография И. Л. Солоневича	7
Несколько предварительных объяснений	9
Вопрос об очевидцах	9
Две силы	11
Концентрационные лагеря	12
Империя ГУЛАГа	13
Перспективы	16
Беломорско-Балтийский комбинат (ББК)	18
Одиночные размышления	18
Было ли это ошибкой?	20
О морали	23
Теория всеобщего надувательства	24
Техническая ошибка	26
Допросы	30
Степушкин роман	33
Синедрион ⁵⁴	36
Приговор	38
В пересылке	40
Рабоче-крестьянская тюрьма	41
Умывающие руки	43
Явление Иосифа	45
Этап	49
Великое племя урок	53
Дискуссия	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

И. Л. Солоневич

Россия в концлагере

Предисловие

Несмотря на название, «Россия в концлагере» не является классическим образцом «лагерной» прозы, как, например, всем известный «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, которому она ни в чем не уступает. Хотя можно ли сравнивать эти книги? «Архипелаг ГУЛАГ» – книга о ГУЛАГе, а «Россия в концлагере» – книга о России. Но о той России, которая находилась тогда в концлагере.

Лагерь рассматривается автором как проекция воли, как срез советского общества и советской системы управления. По И. Л. Солоневичу, «Россия в концлагере» – это СССР.

Публикация этого труда вызвана к жизни прежде всего необходимостью вернуть России часть ее культурно-исторического наследия, ту часть, которая почему-то лучше известна за пределами нашей страны.

Другая задача публикации – познакомить читателя с уникальной биографией И. Л. Солоневича, в том числе с его знаменитым побегом из лагеря в то время, когда любая попытка бегства из СССР уже каралась смертной казнью. Ведь «Россия в концлагере» – это автобиографические очерки.

Немаловажно также напомнить о том эксперименте, «социалистическом кабаке», по выражению самого И. Л. Солоневича, в который была втянута Россия и который, затормозив ее историческое развитие, стоил ей миллионов жизней и миллионов искалеченных судеб.

Появление «России в концлагере» имело эффект разорвавшейся бомбы. А через некоторое время бомба взорвалась уже в доме самого И. Л. Солоневича как подтверждение значимости книги – мощного средства борьбы с большевиками, борьбы, которой И. Л. Солоневич посвятил всю свою жизнь.

Литературный талант И. Л. Солоневича, ярко проявившийся в «России в концлагере», отмечали Иван Бунин и графиня Толстая, Марк Алданов и Павел Милюков, а американский «New York Journal» писал, что советский ад был показан «временами с силой Льва Толстого или Виктора Гюго».

Впервые очерки были в сокращенном виде опубликованы в эмигрантской газете «Последние новости» в 1935–1936 гг. – в полном виде их не пропускала цензура.

К сожалению, количество и тиражи иностранных изданий несоизмеримо больше, чем российских. Характерно, что первое отдельное издание вышло на чешском языке. Русских эмигрантских изданий было пять, но все выходили минимальными тиражами, а вот немецкая пропаганда в годы войны выпустила книгу тиражом 200 тысяч экземпляров. Минимальным тиражом вышли и два издания «России в концлагере» в современной России.

Текст настоящего издания был подготовлен по «каноническому» софийскому изданию 1938 г., вышедшему в издательстве самого И. Л. Солоневича «Голос России» в дореволюционной орфографии. Впервые «Россия в концлагере» снабжена комментариями, в которых текст, на мой взгляд, безусловно нуждается.

Ценность настоящего издания еще и в том, что при составлении комментариев использованы материалы из следственного дела в отношении пытавшейся нелегально перейти советскую границу группы, организатором и руководителем которой был И. Л. Солоневич, позволяющие составить картину ведения следствия и сопоставить ее с изложением автора (в комментариях указываются номера листов дела).

Надо сказать, что доступ к этому делу, хранящемуся в архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стал возможен только при содействии внука И. Л. Солоневича Михаила, живущего в Германии, которому не могли отказать в ознакомлении с документами как прямому потомку писателя. К сожалению, удалось получить только обвинительное заключение по этому коллективному делу и те материалы, которые касаются самого И. Л. Солоневича, человека, не признававшего авторитетов и нещадно критиковавшего всех, кто не боролся с советской властью или ставил под сомнение тезис о том, что монархия – наилучшая форма государственного устройства России.

Чистяков К. А., к. и. н.

Биография И. Л. Солоневича

Иван Лукьянович Солоневич родился 1 (14) ноября 1891 г. в Гродненской губернии (точное место рождения пока не установлено) в семье народного учителя. Закончил гимназию в Вильно (экстерном) и юридический факультет Петроградского университета.

Профессиональную деятельность начал как журналист – сначала в газете «Северо-западная жизнь», издававшейся его отцом, затем, после переезда в Петроград, – в «Новом времени». На профессиональном уровне занимался тяжелой атлетикой (2-е место в первенстве России 1914 г.), борьбой и боксом.

Участвовал в Гражданской войне на стороне белых; заболев тифом, не смог эвакуироваться. В советское время жил в Одессе и Подмоскovie (пос. Салтыковка), сменил не один десяток профессий, остановившись в итоге на карьере инструктора по спорту и туризму в Центральном комитете профсоюза советских и торговых служащих, одновременно не оставляя журналистики и занятий спортом.

Первая попытка перехода советской границы вместе с сыном и братом была неудачной, вторая, летом 1934 г. и уже из концлагеря (уникальный случай!), закончилась успехом для всех троих. Первые два года эмиграции И. Л. Солоневич провел в Финляндии, работая грузчиком в порту Хельсинки. Написанные в это время очерки «Россия в концлагере» были впоследствии изданы более чем на 10 иностранных языках и принесли их автору мировую известность и финансовую независимость, позволив сосредоточиться на публицистической и издательской деятельности.

Затем И. Л. Солоневич жил в Софии (с 1936 г.), где пережил покушение, во время которого погибла его жена, и Берлине (с 1938 г.), издавая сменявшие друг друга газеты «Голос России», «Наша газета» и журнал «Родина» и став одной из наиболее заметных фигур российской эмиграции 2-й половины 1930-х гг.

Основными направлениями деятельности И. Л. Солоневича стали борьба с советской властью и пропаганда монархии как единственной приемлемой для России формы государственного устройства. Взгляды И. Л. Солоневича отразил написанный им в 1940-е гг. фундаментальный труд «Народная монархия». Идеализируя допетровскую Русь, И. Л. Солоневич противопоставлял народную монархию монархии дворянско-помещичьей, приведшей Россию, по его мнению, к катастрофе начала XX века.

На протяжении всего эмигрантского периода жизни И. Л. Солоневич вел жесткую полемику с эмигрантскими организациями и течениями практически всех направлений, попав, таким образом, в своеобразную полосу отчуждения и навсегда поссорившись даже с родным братом. В ответ эмиграция обвиняла его во всех грехах, включая ведение провокаторской работы по заданиям советской разведки.

Перед началом советско-германской войны И. Л. Солоневич написал меморандум на имя Гитлера, в котором предупреждал о губительности ведения войны против русского народа, призывая воевать только с советской властью, и в 1941 г. был отправлен немецкими властями в ссылку в Померанию, где провел всю войну. После ее окончания три года находился в британской зоне оккупации Германии.

На основе идей И. Л. Солоневича в российской эмиграции возникло движение, которое получило название «штабс-капитанского» (народно-имперского), а после войны было возрождено как народно-монархическое.

Перебравшись после войны в Аргентину, в Буэнос-Айрес, И. Л. Солоневич организовал издание газеты «Наша страна», до самой смерти оставаясь ее главным автором и фактическим издателем. В 1950 г. после ряда доносов со стороны представителей российской эмиграции он был выслан правительством генерала Перона из страны. Последние три года жизни И. Л.

Солоневич провел в Уругвае. Он скончался в Монтевидео 24 апреля 1953 г. после тяжелой операции.

И. Л. Солоневич является автором не только «России в концлагере» и «Народной монархии», но и ряда программных, публицистических, методических трудов, художественных произведений, а также порядка 1000 статей в периодической печати.

К. Чистяков

Несколько предварительных объяснений

Вопрос об очевидцах

Я отдаю себе совершенно ясный отчет в том, насколько трудна и ответственна всякая тема, касающаяся Советской России. Трудность этой темы осложняется необычайной противоречивостью всякого рода «свидетельских показаний» и еще большею противоречивостью тех выводов, которые делаются на основании этих показаний.

Свидетелям, вышедшим из Советской России, читающая публика вправе несколько не доверять, подозревая их – и не без некоторого психологического основания – в чрезмерном сгущении красок. Свидетели, наезжающие в Россию извне, при самом честном своем желании технически не в состоянии видеть ничего существенного, не говоря уже о том, что подавляющее большинство из них ищет в советских наблюдениях не проверки, а только подтверждения своих прежних взглядов. А ищущий – конечно, находит...

Помимо этого, значительная часть иностранных наблюдателей пытается – и небезуспешно – найти положительные стороны сурового коммунистического опыта, оплаченного и оплачиваемого не за их счет. Цена отдельных достижений власти – а эти достижения, конечно, есть – их не интересует: не они платят эту цену. Для них этот опыт более или менее бесплатен. Вивисекция производится не над их живым телом – почему же не воспользоваться результатами ее?

Полученный таким образом «фактический материал» подвергается затем дальнейшей обработке в зависимости от насущных и уже сформировавшихся потребностей отдельных политических группировок. В качестве окончательного продукта всего этого «производственного процесса» получают картины – или обрывки картин, – имеющие очень мало общего с «исходным продуктом» – с советской реальностью: «должное» получает подавляющий перевес над «сущим»...

Факт моего бегства из СССР в некоторой степени предопределяет тон и моих «свидетельских показаний». Но если читатель примет во внимание то обстоятельство, что и в концлагерь-то я попал именно за попытку бегства из СССР, то этот тон получает несколько иное, не слишком банальное объяснение: не лагерные, а общероссийские переживания толкнули меня за границу.

Мы трое, т. е. я, мой брат¹ и сын², предпочли совсем всерьез рискнуть своей жизнью, чем продолжать свое существование в социалистической стране. Мы пошли на этот риск без всякого непосредственного давления извне. Я в материальном отношении был устроен значительно лучше, чем подавляющее большинство квалифицированной русской интеллигенции,

¹ Солоневич Борис Лукьянович (20.01.1898, дер. Рудники Пружанского уезда Гродненской (в наст. время Брестской) губ. – 24.02.1989, Нью-Йорк) – младший брат И. Л. Солоневича, политический деятель, писатель, журналист, спортсмен; активный деятель скаутского движения, участник Гражданской войны, после которой остался в СССР, занимая различные административные должности; осужден за скаутскую деятельность (1922 и 1926), попытку побега из СССР (1933); в 1934 г. одновременно со старшим братом и племянником бежал из Свирского лагеря в Финляндию (затем жил в Болгарии (София, с 1936), Бельгии (Брюссель, с 1937), где после Второй мировой войны был дважды осужден по обвинениям в политических преступлениях, США (Нью-Йорк, с [1957])); редактор-издатель журнала «Родина» (1950 – нач. 1980-х гг., Бельгия, США); автор вышедших на нескольких языках воспоминаний («Молодежь и ГПУ», «На низовке»), ряда художественных произведений («Тайна Соловков», «Рука адмирала», «Женщина с винтовкой» и др.); скончался в лечебном пансионате для престарелых, открытом Толстовским фондом.

² Солоневич Юрий Иванович (15.10.1915, Москва – 21.02.2003, Роанок, штат Вирджиния, США) – единственный сын И. Л. Солоневича, художник; в 1933 г. осужден за попытку бегства из СССР, в 1934 г. бежал за границу из Беломорско-Балтийского лагеря вместе с отцом, в эмиграции в Финляндии, Болгарии, Германии, Аргентине, США; художник-оформитель всех прижизненных изданий произведений отца; автор воспоминаний «Повесть о 22 несчастьях» (София, 1938).

и даже мой брат, во время наших первых попыток бегства еще отбывавший после Соловков свою «административную ссылку»³, поддерживал уровень жизни, намного превышающий уровень, скажем, русского рабочего. Настоятельно прошу читателя учитывать относительность этих масштабов: уровень жизни советского инженера намного ниже уровня жизни финляндского рабочего, а русский рабочий вообще ведет существование полуголодное.

Следовательно, тон моих очерков вовсе не определяется ощущением какой-то особой, личной, обиды. Революция не отняла у меня никаких капиталов – ни движимых, ни недвижимых – по той простой причине, что капиталов этих у меня не было. Я даже не могу питать никаких специальных и личных претензий к ГПУ: мы были посажены в концентрационный лагерь не за здорово живешь, как попадает, вероятно, процентов восемьдесят лагерников, а за весьма конкретное «преступление», и преступление, с точки зрения советской власти, особо предосудительное: попытку оставить социалистический рай. Полгода спустя после нашего ареста был издан закон (от 7 июня 1934 г.), карающий побег за границу смертной казнью. Даже и советски настроенный читатель должен, мне кажется, понять, что не очень велики сладости этого рая, если выходы из него приходится охранять суровее, чем выходы из любой тюрьмы...

Диапазон моих переживаний в Советской России определяется тем, что я прожил в ней 17 лет и что за эти годы – с блокнотом и без блокнота, с фотоаппаратом и без фотоаппарата – я исколесил ее всю. То, что я пережил в течение этих советских лет, и то, что я видал на пространствах этих советских территорий, – определило для меня моральную невозможность оставаться в России. Мои личные переживания как потребителя хлеба, мяса и пиджаков не играли в этом отношении решительно никакой роли. Чем именно определялись эти переживания – будет видно из моих очерков: в двух строчках этого сказать нельзя.

³ В 1926 г. Б. Л. Солоневич был приговорен к 5 годам заключения в концентрационном (Соловецком) лагере; в 1928 г. заключение по причине болезни глаз и угрозы потери зрения было заменено ссылкой в Сибирь (Томск), в 1930 г. – административной ссылкой в Орел.

Две силы

Если попытаться предварительно и, так сказать, эскизно определить тот процесс, который сейчас совершается в России, то можно сказать приблизительно следующее:

Процесс идет чрезвычайно противоречивый и сложный. Властью создан аппарат принуждения такой мощности, какого история еще не видала. Этому принуждению противостоит сопротивление почти такой же мощности. Две чудовищные силы сцепились друг с другом в обхватку, в беспримерную по своей напряженности и трагичности борьбу. Власть задыхается от непосильности задач, страна задыхается от непосильности гнета.

Власть ставит своей целью мировую революцию. Ввиду того, что надежды на близкое достижение этой цели рухнули, – страна должна быть превращена в моральный, политический и военный плацдарм, который сохранил бы до удобного момента революционные кадры, революционный опыт и революционную армию.

Люди же, составляющие эту «страну», становиться на службу мировой революции не хотят и не хотят отдавать своего достоинства и своих жизней. Власть сильнее «людей», но «людей» больше. Водораздел между властью и «людьми» проведен с такой резкостью, с какою это обычно бывает только в эпохи иноземного завоевания. Борьба принимает формы средневековой жестокости.

Ни на Невском, ни на Кузнецком мосту ни этой борьбы, ни этих жестокостей не видеть. Здесь – территория, уже прочно завоеванная властью. Борьба идет на фабриках и заводах, в степях Украины и Средней Азии, в горах Кавказа, в лесах Сибири и Севера. Она стала гораздо более жестокой, чем она была даже в годы военного коммунизма, – отсюда чудовищные цифры «лагерного населения» и непрекращающееся голодное вымирание страны.

Но на завоеванных территориях столиц, крупнейших промышленных центров, железнодорожных магистралей достигнут относительный внешний порядок: «враг» или вытеснен, или уничтожен. Террор в городах, резонирующий по всему миру, стал ненужен и даже вреден. Он перешел в низы, в массы, от буржуазии и интеллигенции – к рабочим и крестьянам, от кабинетов – к сохе и станку. И для постороннего наблюдателя он стал почти незаметен.

Концентрационные лагеря

Тема о концентрационных лагерях в Советской России уже достаточно использована. Но она была использована преимущественно как тема «ужасов» и как тема личных переживаний людей, попавших в концлагерь более или менее безвинно. Меня концлагерь интересует не как территория «ужасов», не как место страданий и гибели миллионных масс, в том числе и не как фон моих личных переживаний – каковы бы они ни были. Я не пишу сентиментального романа и не собираюсь вызвать в читателе чувства симпатии или сожаления. Дело не в сожалении, а в понимании.

И вот именно здесь, в концентрационном лагере, легче и проще всего понять основное содержание и основные «правила» той борьбы, которая ведется на пространстве всей социалистической республики.

Я хочу предупредить читателя: ничем существенным лагерь от «воли» не отличается. В лагере если и хуже, чем на воле, то очень уж ненамного, – конечно, для основных масс лагерников – для рабочих и крестьян. Все то, что происходит в лагере, происходит и на воле – и наоборот. Но только – в лагере все это нагляднее, проще, четче. Нет той рекламы, нет тех «идеологических надстроек», подставной и показной общественности, белых перчаток и оглядки на иностранного наблюдателя, какие существуют на воле. В лагере основы советской власти представлены с четкостью алгебраической формулы.

История моего лагерного бытия и побега если не доказывает, то, во всяком случае, показывает, что эту формулу я понимал правильно. Подставив в нее, вместо отвлеченных алгебраических величин, живых и конкретных носителей советской власти в лагере, живые и конкретные взаимоотношения власти и населения, – я получил нужное мне решение, обеспечившее в исключительно трудных объективных условиях успех нашего очень сложного технически побега.

Возможно, что некоторые страницы моих очерков покажутся читателю циничными... Конечно, я очень далек от мысли изображать из себя невинного агнца: в той жестокой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, таких агнцев вообще не осталось: они вымерли. Но я прошу не забывать, что дело шло – совершенно реально – о жизни и смерти, и не только моей.

В той общей борьбе не на жизнь, а на смерть, о которой я только что говорил, нельзя представлять себе дела так, что вот с одной стороны беспощадные палачи, а с другой – только безответные жертвы. Нельзя же думать, что за годы этой борьбы у страны не выработалось миллионов способов и открытого сопротивления, и «применения к местности», и всякого рода изворотов, не всегда одобряемых евангельской моралью. И не нужно представлять себе страдание непременно в ореоле святости... Я буду рисовать советскую жизнь в меру моих способностей – такую, какой я ее видел. Если некоторые страницы этой жизни читателю не понравятся – это не моя вина...

Империя ГУЛАГа

Эпоха коллективизации довела количество лагерей и лагерного населения до неслыханных раньше цифр. Именно в связи с этим лагерь перестал быть местом заключения и истребления нескольких десятков тысяч контрреволюционеров, каким были Соловки, и превратился в гигантское предприятие по эксплуатации даровой рабочей силы, находящейся в ведении Главного управления лагерей ГПУ – ГУЛАГа. Границы между лагерем и волей стираются все больше и больше. В лагере идет процесс относительного раскрепощения лагерников, на воле идет процесс абсолютного закрепощения масс. Лагерь вовсе не является изнанкой, неким *Unterwelt*⁴ ом⁴ воли, а просто отдельным и даже не очень своеобразным куском советской жизни. Если мы представим себе лагерь несколько менее голодный, лучше одетый и менее интенсивно расстреливаемый, чем сейчас, то это и будет куском будущей России, при условии ее дальнейшей «мирной эволюции»⁵. Я беру слово «мирная» в кавычки, ибо этот худой мир намного хуже основательной войны... А сегодняшняя Россия пока очень немногим лучше сегодняшнего концлагеря.

Лагерь, в который мы попали – Беломорско-Балтийский комбинат⁶ – сокращенно ББК, – это целое королевство с территорией от Петрозаводска до Мурманска, с собственными лесозаготовками, каменоломнями, фабриками, заводами, железнодорожными ветками и даже с собственными верфями и пароходством. В нем девять «отделений»: Мурманское, Туломское, Кемское, Сорокское, Сегежское, Сосновецкое, Водораздельное, Повенецкое и Медгорское. В каждом таком отделении – от пяти до двадцати семи лагерных пунктов («лагпункты») с населением от пятисот человек до двадцати пяти тысяч. Большинство лагпунктов имеют еще свои «командировки» – всякого рода мелкие предприятия, разбросанные на территории лагпункта.

На ст. Медвежья Гора⁷ («Медгора») находится Управление лагерем – оно же и фактическое правительство так называемой «Карельской республики» – лагерь поглотил республику, захватил ее территорию и – по известному приказу Сталина об организации Балтийско-Беломорского комбината⁸ – узурпировал все хозяйственные и административные функции правительства. Этому правительству осталось только «представительство», побегушки по приказам из Медгоры да роль декорации национальной автономии Карелии.

В июне месяце 1934 года «лагерное население» ББК исчислялось в 286 000 человек, хотя лагерь находился уже в состоянии некоторого упадка – работы по сооружению Беломорско-Балтийского канала были уже закончены, и огромное число заключенных – я не знаю точно, какое именно, – было отправлено на БАМ (Байкало-Амурская магистраль). В начале марта того же года мне пришлось работать в плановом отделе Свирского лагеря – это один из сравнительно мелких лагерей: в нем было 78 000 «населения».

Некоторое время я работал и в учетно-распределительной части (УРЧ) ББК и в этой работе сталкивался со всякого рода перебросками из лагеря в лагерь. Это дало мне возможность с очень грубой приблизительностью определить число заключенных всех лагерей СССР. Я при этом подсчете исходил, с одной стороны – из точно мне известных цифр «лагерного

⁴ Преисподняя, дно (*нем.*).

⁵ Имеется в виду получившая распространение в среде либерально-демократической части российской эмиграции (в частности, П. Н. Милуков и его сторонники) теория о постепенной эволюции советского режима в сторону демократизации; подвергалась жесткой и, как показало время, справедливой критике И. Л. Солоневича.

⁶ Беломорско-Балтийский лагерь создан в 1931 г.

⁷ С 1938 г. – город Медвежьегорск.

⁸ Имеется в виду Постановление СНК СССР от 17 августа 1933 г. «О Беломорско-Балтийском комбинате», образованном «в целях освоения Беломорско-Балтийского канала имени тов. Сталина и прилегающих к нему районов»; непосредственное руководство комбинатом возлагалось на ОГПУ.

населения» Свирьлага и ББК, а с другой – из, так сказать, «относительных величин» остальных более или менее известных мне лагерей. Некоторые из них – больше ББК (БАМ, Сиблаг⁹, Дмитлаг¹⁰); большинство – меньше. Есть совсем уж неопределенное количество мелких и мельчайших лагерей – в отдельных совхозах, даже в городах. Так, например, в Москве и Петербурге стройки домов ГПУ и стадионов «Динамо» производились силами местных лагерников. Есть десятка два лагерей средней величины – так, между ББК и Свирьлагом... Я не думаю, чтобы общее число всех заключенных в этих лагерях было меньше пяти миллионов человек. Вероятно, – несколько больше. Но, конечно, ни о какой точности подсчета не может быть и речи. Больше того, я знаю системы низового подсчета в самом лагере и поэтому сильно сомневаюсь, чтобы само ГПУ знало о числе лагерников с точностью хотя бы до сотен тысяч.

Здесь идет речь о лагерниках в строгом смысле этого слова. Помимо них, существуют всякие другие – более или менее заключенные слои населения. Так, например, в ББК в период моего пребывания там находилось 28 000 семейств так называемых «спецпереселенцев» – это крестьяне Воронежской губернии, высланные в Карелию целыми селами на поселение и под надзор ББК. Они находились в гораздо худшем положении, чем лагерники, ибо они были с семьями и пайка им не давали. Далее следует категория административно-ссылных, высылаемых в индивидуальном порядке: это вариант довоенной ссылки, только без всякого обеспечения со стороны государства – живи чем хочешь. Дальше – «вольно-ссылные» крестьяне, высылаемые обычно целыми селами на всякого рода «неудобоусвояемые земли», но не находящиеся под непосредственным ведением ГПУ.

О количестве всех этих категорий, не говоря уже о количестве заключенных в тюрьмах, я не имею никакого, даже и приблизительного, представления. Надо иметь в виду, что все эти заключенные и полужаключенные люди – все это цвет нации, в особенности крестьяне. Думаю, что не меньше одной десятой части взрослого мужского населения страны находится или в лагерях, или где-то около них...

Это, конечно, не европейские масштабы... Системы советских ссылок как-то напоминают новгородский «вывод» при Грозном¹¹, а еще больше – ассирийские¹² методы и масштабы.

«Ассирийцы, – пишет Каутский¹³, – додумались до системы, которая обещала их завоеваниям большую прочность: там, где они наталкивались на упорное сопротивление или повторные восстания, они парализовали силы побежденного народа таким путем, что отнимали у него голову, т. е. отнимали у него господствующие классы... самые знатные, образованные и боеспособные элементы... и отсылали их в отдаленную местность, где они, оторванные от своей подпочвы, были совершенно бессильны. Оставшиеся на родине крестьяне и мелкие ремесленники представляли плохо связанную массу, неспособную оказать какое-нибудь сопротивление завоевателям»...

Советская власть повсюду «наталкивалась на упорное сопротивление и повторные восстания» и имеет все основания опасаться, в случае внешних осложнений, такого подъема «сопротивления и восстаний», какого еще не видала даже и многострадавшая русская земля. Отсюда – и ассирийские методы, и ассирийские масштабы. Все более или менее хозяйственно устойчивое, способное мало-мальски самостоятельно мыслить и действовать, – короче, все

⁹ Сибирский лагерь (Новосибирская, Кемеровская обл.), созданный в 1929 г.

¹⁰ Дмитровский лагерь (Московская обл.), созданный в 1932 г. для строительства канала Москва – Волга.

¹¹ Иван Грозный с целью ослабления позиций крупных землевладельцев, в частности новгородских, конфисковывал их владения, предоставляя земли в других районах страны.

¹² Ассирия – древнее государство в Северной Месопотамии (территория современного Ирака), в 14–9 вв. до н. э. неоднократно подчиняла себе всю Северную Месопотамию и прилегающие территории.

¹³ К. Каутский. Античный мир, христианство и иудейство. Стр. 205. Изд. 1909 г. – *Прим. авт.* Каутский Карл (1854–1938) – один из лидеров и идеологов германской социал-демократии и 2-го Интернационала; автор теории ультраимпериализма, критиковавшей марксистские и революционные идеи.

то, что оказывает хоть малейшее сопротивление всеобщему нивелированию, – подвергается «выводу», искоренению, изгнанию.

Перспективы

Как видите – эти цифры очень далеки и от «мирной эволюции», и от «ликвидации террора»... Боюсь, что во всякого рода эволюционных теориях русская эмиграция слишком увлеклась тенденцией «видеть чаемое как бы сущим». В России об этих теориях не слышно абсолютно ничего, и для нас – всех троих – эти теории эмиграции явились полнейшей неожиданностью: как снег на голову... Конечно, нынешний маневр власти – «защита родины» – обсуждается и в России, но за всю мою весьма многостороннюю советскую практику я не слышал ни одного случая, чтобы этот маневр обсуждался, так сказать, всерьез – как его обсуждают здесь, за границей...

При НЭПе власть использовала инстинкт собственности и, использовав, послала в Соловки и на расстрел десятки и сотни тысяч своих временных нэповских «помощников». Первая пятилетка использовала инстинкт строительства и привела страну к голоду, еще небывалому даже в истории социалистического рая. Сейчас власть пытается использовать национальный инстинкт для того, чтобы в момент военных испытаний обеспечить, по крайней мере, свой тыл... История всяких помощников, попутчиков, сменовеховцев¹⁴ и прочих – использованных до последнего волоса и потом выкинутых на расстрел – могла бы заполнить целые тома. В эмиграции и за границей об этой истории позволительно время от времени забывать: не эмиграция и не заграница платила своими шкурами за тенденцию «видеть чаемое как бы сущим». Профессору Устрялову¹⁵, сильно промахнувшемуся на своих нэповских пророчествах, решительно ничего не стоит в тиши харбинского кабинета сменить свои веши еще один раз (или далеко не один раз!) и состряпать новое пророчество. В России люди, ошибавшиеся в своей оценке и поверившие власти, платили за свои ошибки жизнью. И поэтому человек, который в России стал бы всерьез говорить об эволюции власти, был бы просто поднят на смех.

Но как бы ни оценивать шансы «мирной эволюции», мирного вращивания социализма в кулака (можно утверждать, что издали – виднее), один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил краском Тренин¹⁶ в «Последних новостях»¹⁷: страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите «социалистического отечества» со стороны народных масс – не может быть и речи. Наоборот: с кем бы ни велась война и какими бы последствиями ни грозил военный разгром – все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину Красной армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист!.. Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и т. п., и эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны как бараны...

Я не могу сказать, чтобы вопросы отношения масс к религии, монархии, республике и пр. были для меня совершенно ясны... Но вопрос об отношении к войне выпирает с такой очевидностью, что тут не может быть никаких ошибок... Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовых перспектив вообще не видеть... Достаточно хорошо зная

¹⁴ Сменовеховство – общественно-политическое течение, возникшее в среде либерально-демократической части российской эмиграции в начале 1920-х гг. в связи с переходом к НЭПу, который расценивался как возврат к капитализму, и в той или иной степени поддерживавшее советский строй.

¹⁵ Устрялов Николай Васильевич (1890–1937) – российский политический деятель, публицист, член кадетской партии, главный идеолог сменовеховства; в эмиграции (1920–1935, Китай [Харбин]); репрессирован.

¹⁶ Тренин П. Н. – советский летчик, бежавший из СССР в начале 1930-х гг. и опубликовавший свои воспоминания в газете «Последние новости»; погиб в годы Второй мировой войны в рядах Русской освободительной армии ген. А. А. Власова.

¹⁷ «Последние новости» – ежедневная газета (Париж, 1920–1940) под ред. М. Л. Гольдштейна (1920–1921), П. Н. Миллюкова (с марта 1921), выражавшая взгляды либерально-демократической части российской эмиграции.

русскую действительность, я довольно ясно представляю себе, что будет делаться в России на второй день после объявления войны: военный коммунизм покажется детским спектаклем... Некоторые репетиции вот такого спектакля я видал уже в Киргизии, на Северном Кавказе и в Чечне...¹⁸ Коммунизм это знает совершенно точно – и вот почему он пытается ухватиться за ту соломинку доверия, которая, как ему кажется, в массах еще осталась... Конечно, осел с охапкой сена перед носом принадлежит к числу гениальнейших изобретений мировой истории – так по крайней мере утверждает Вудвортс¹⁹, – но даже и это изобретение изнашивается. Можно еще один – совсем лишний – раз обмануть людей, сидящих в Париже или в Харбине, но нельзя еще один раз (который, о Господи!) обмануть людей, сидящих в концлагере или в колхозе... Для них сейчас *ubi bene – ibi patria*²⁰, а хуже, чем на советской родине, им все равно не будет нигде... Это, как видите, очень прозаично, не очень весело, но это все-таки – факт...

Учитывая этот факт, большевизм строит свои военные планы с большим расчетом на восстания – и у себя, и у противника. Или, как говорил мне один из военных главков, вопрос стоит так: «где раньше вспыхнут массовые восстания – у нас или у противника. Они раньше всего вспыхнут в тылу отступающей стороны. Поэтому мы должны наступать и поэтому мы будем наступать».

К чему может привести это наступление – я не знаю. Но возможно, что в результате его мировая революция может стать, так сказать, актуальным вопросом... И тогда гг. Устрялову, Блюму²¹, Бернару Шоу²² и многим другим – покровительственно поглаживающим большевизм пса или пытающимся в порядке торговых договоров урвать из его шерсти клочки долларов – придется пересматривать свои вехи уже не в кабинетах, а в Соловках и ББКх, – как их пересматривают много, очень много, людей, уверовавших в эволюцию, сидя не в Харбине, а в России...

В этом – все же не вполне исключенном – случае неудобоусвояемые просторы российских отдаленных мест будут несомненно любезно предоставлены в распоряжение соответствующих братских ревкомов для поселения там многих, ныне благополучно верующих, людей – откуда же взять этих просторов, как не на российском севере?

И для этого случая мои очерки могут сослужить службу путеводителя и самоучителя.

¹⁸ И. Л. Солоневич путешествовал по Сванетии (1928), Киргизии (1931), Дагестану и Чечне (1931) в качестве туриста и журналиста.

¹⁹ Вудвортс Роберт (1869–1962) – американский психолог, автор концепции динамической психологии.

²⁰ Где хорошо, там и отечество (*лат.*) (Цицерон).

²¹ Блюм Леон (1872–1950) – лидер и идеолог социалистической партии Франции; глава правительства Народного фронта (1936–1938); автор доктрины гуманистического социализма.

²² Шоу Джордж Бернард (1856–1950) – английский писатель, создатель драмы-дискуссии, в центре которой – столкновение враждебных идеологий; лауреат Нобелевской премии (1925); поддерживал советскую власть, посетил СССР (1931).

Беломорско-Балтийский комбинат (ББК)

Одиночные размышления

В камере мокро и темно. Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стен и лужицы – с полу. К полудню – пол снова в лужах...

Около семи утра мне в окошечко двери просовывают фунт черного малосъедобного хлеба – это мой дневной паек – и кружку кипятку. В полдень – блюдечко ячкаши²³, вечером – тарелку жидкости, долженствующей изображать щи, и то же блюдечко ячкаши.

По камере можно гулять из угла в угол – выходит четыре шага туда и четыре обратно. На прогулку меня не выпускают, книг и газет не дают, всякое сообщение с внешним миром отрезано. Нас арестовали весьма конспиративно – и никто не знает и не может знать, где мы, собственно, находимся. Мы – т. е. я, мой брат Борис и сын Юра. Но они – где-то по другим одиночкам.

Я по неделям не вижу даже тюремного надзирателя. Только чья-то рука просовывается с едой и чей-то глаз каждые 10–15 минут заглядывает в волчок²⁴. Владелец глаза ходит неслышно, как привидение, и мертвая тишина покрытых войлоком тюремных коридоров нарушается только редким лязгом дверей, звоном ключей и изредка каким-нибудь диким и скоро заглушаемым криком. Только один раз я явственно разобрал содержание этого крика:

– Товарищи, братишки, на убой ведут...

Ну что же... В какую-то не очень прекрасную ночь вот точно так же поведут и меня. Все объективные основания для этого «убоя» есть. Мой расчет заключается, в частности, в том, чтобы не дать довести себя до этого «убоя». Когда-то, еще до голодовок социалистического рая, у меня была огромная физическая сила. Кое-что осталось и теперь. Каждый день, несмотря на голодовку, я все-таки занимаюсь гимнастикой, неизменно вспоминая при этом андреевского студента из «Рассказа о семи повешенных»²⁵. Я надеюсь, что у меня еще хватит силы, чтобы кое-кому из людей, которые вот так, ночью, войдут ко мне с револьверами в руках, переломать кости и быть пристреленным без обычных убойных обрядностей... Все-таки – это проще...

Но, может, захватят сонного и врасплох – как захватили нас в вагоне? И тогда придется пройти весь этот скорбный путь, исхоженный уже столькими тысячами ног, со скрученными на спине руками, все ниже и ниже, в таинственный подвал ГПУ... И с падающим сердцем ждать последнего – уже неслышного – толчка в затылок.

Ну что ж... Неуютно – но я не первый и не последний. Еще неуютнее мысль, что по этому пути придется пройти и Борису. В его биографии – Соловки, и у него совсем уж мало шансов на жизнь. Но он чудовищно силен физически и едва ли даст довести себя до убоя...

А как с Юрой? Ему еще нет 18 лет. Может быть, пощадят, а может быть, и нет. И когда в воображении всплывает его высокая и стройная юношеская фигура, его кудрявая голова... В Киеве²⁶, на Садовой 5, после ухода большевиков я видел человеческие головы, простреленные из нагана на близком расстоянии:

²³ Ячменная каша.

²⁴ Глазок в двери тюремной камеры.

²⁵ Имеется в виду произведение Леонида Андреева (1871–1919) «Рассказ о семи повешенных» (1908), персонаж которого Сергей Головин, приговоренный к смертной казни за подготовку террористического акта, занимается в тюремной камере гимнастикой; в рассказе он не студент, а бывший офицер.

²⁶ В 1919 г. И. Л. Солоневич редактировал выходившую в Киеве антибольшевистскую газету «Вечерние огни».

...Пуля имела модный чекан,
И мозг не вытек, а выпер комом...²⁷

Когда я представляю себе Юру, плетущегося по этому скорбному пути, и его голову... Нет, об этом нельзя думать. От этого становится тесно и холодно в груди и мутится в голове. Тогда хочется сделать что-нибудь решительно ни с чем несообразное.

Но не думать – тоже нельзя. Бесконечно тянутся бессонные тюремные ночи, неслышно заглядывает в волчок чей-то почти невидимый глаз. Тускло светит с середины потолка электрическая лампочка. Со стен несет сыростью. О чем думать в такие ночи?

О будущем думать нечего. Где-то там, в таинственных глубинах Шпалерки²⁸, уже, может быть, лежит клочок бумажки, на котором черным по белому написана моя судьба, судьба брата и сына, и об этой судьбе думать нечего, потому что она – неизвестна, потому что в ней изменить я уже ничего не могу.

Говорят, что в памяти умирающего проходит вся его жизнь. Так и у меня – мысль все настойчивее возвращается к прошлому, к тому, что за все эти революционные годы было пережито, передумано, сделано, – точно на какой-то суровой, аскетической исповеди перед самим собой. Исповеди тем более суровой, что именно я, как «старший в роде», как организатор, а в некоторой степени и инициатор побега, был ответствен не только за свою собственную жизнь. И вот – я допустил техническую ошибку.

²⁷ Цитата из поэмы И. Л. Сельвинского «Улялаевщина» (1927).

²⁸ Дом предварительного заключения на Шпалерной улице.

Было ли это ошибкой?

Да, техническая ошибка, конечно, была – именно в результате ее мы очутились здесь. Но не было ли чего-то более глубокого – не было ли принципиальной ошибки в нашем решении бежать из России. Неужели же нельзя было остаться, жить так, как живут миллионы, пройти вместе со своей страной весь ее трагический путь в неизвестность? Действительно ли не было никакого житья? Никакого просвета?

Внешнего толчка в сущности не было вовсе. Внешне наша семья жила в последние годы спокойной и обеспеченной жизнью, более спокойной и более обеспеченной, чем жизнь подавляющего большинства квалифицированной интеллигенции. Правда, Борис прошел многое, в том числе и Соловки, но и он, даже будучи ссыльным, устраивался как-то лучше, чем устраивались другие...

Я вспоминаю страшные московские зимы 1928–1930 гг., когда Москва – конечно рядовая, неофициальная Москва – вымерзала от холода и вымирала от голода. Я жил под Москвой, в 20 верстах, в Салтыковке²⁹, где живут многострадальные «зимогоры», для которых в Москве не нашлось жилплощади. Мне не нужно было ездить в Москву на службу, ибо моей профессией была литературная работа в области спорта и туризма. Москва внушала мне острое отвращение своей переполненностью, сутолокой, клопами, грязью. А в Салтыковке у меня была своя робинзоновская мансарда, достаточно просторная и почти полностью изолированная от жилищных дрызг, подслушивания, грудных ребят за стеной и вечных примусов в коридоре, без вечной борьбы за ухваченный кусочек жилплощади, без управдомовской слежки и без прочих московских ароматов. В Салтыковке, кроме того, можно было, хотя бы частично, отгораживаться от холода и голода.

Летом мы собирали грибы и ловили рыбу. Осенью и зимой корчевали пни (хворост был давно подобран под метелку). Конечно, всего этого было мало, тем более, что время от времени в Москве наступали моменты, когда ничего мало-мальски съедобного, иначе как по карточкам, нельзя было достать ни за какие деньги. По крайней мере – легальным путем.

Поэтому приходилось прибегать иногда к весьма сложным и почти всегда не весьма легальным комбинациям. Так, одну из самых голодных зим мы пропитались картошкой и икрой. Не какой-нибудь грибной икрой, которая по цене около трешки за кило предлагается «кооперированным трудящимся» и которой даже эти трудящиеся есть не могут, а настоящей, живительной черной икрой, зернистой и паюсной. Хлеба, впрочем, не было...

Факт пропитания икрой в течение целой зимы целого советского семейства мог бы, конечно, служить иллюстрацией «беспримерного в истории подъема благосостояния масс», но по существу дело обстояло прозаичнее.

В старом елисеевском³⁰ магазине на Тверской обосновался «Инснаб»³¹, из которого хлебное советское правительство снабжало своих иностранцев – приглашенных по договорам иностранных специалистов и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче. Шпана покрупнее – снабжалась из кремлевского распределителя.

Впрочем, это был период, когда и для иностранцев уже немного оставалось. Каждый из них получал персональную заборную книжку, в которой было проставлено, сколько продуктов он может получить в месяц. Количество это колебалось в зависимости от производственной и политической ценности данного иностранца, но в среднем было очень невелико. Особенно

²⁹ В Салтыковке И. Л. Солоневич жил в 1926–1933 гг.

³⁰ Елисеевы – владельцы петербургской фирмы, имевшей в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве магазины по торговле винами и колониальными товарами.

³¹ Контора Государственного объединения розничной торговли, занимавшаяся вопросами снабжения иностранцев.

ограничена была выдача продуктов первой необходимости – картофеля, хлеба, сахару и пр. И наоборот – икра, семга, балыки, вина и пр. – отпускались без ограничений. Цены же на все эти продукты первой и не первой необходимости были раз в 10–20 ниже рыночных.

Русских в магазин не пускали вовсе. У меня же было сногшибательное английское пальто и «неопалимая» сигара, специально для особых случаев сохранявшаяся.

И вот я в этом густо иностранном пальто и с сигарой в зубах важно шествую мимо чекиста из паршивеньких, охраняющего этот съестной рай от голодных советских глаз. В первые визиты чекист еще пытался спросить у меня пропуск, я величественно запускал руку в карман и, ничего оттуда видимого не вынимая, проплывал мимо. В магазине все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлеба; картошка, даже и при икре, все же надоедает, но хлеб строго нормирован, и без книжки нельзя купить ни фунта. Ну что ж. Если нет хлеба, будем жрать честную пролетарскую икру.

Икра здесь стоила 22 рубля кило. Я не думаю, чтобы Рокфеллер поглощал ее в таких количествах... в каких ее поглощала советская Салтыковка. Но к икре нужен был еще и картофель.

С картофелем делалось так. Мое образцово-показательное пальто оставлялось дома, я надевал свою выдавшую самые живописные виды советскую хламиду и устремлялся в подворотню где-нибудь у Земляного вала. Там мирно и с подозрительно честным взглядом прохаживались подмосковные крестьянки. Я посмотрю на нее, она посмотрит на меня. Потом я пройду еще раз и спрошу ее таинственным шепотком:

– Картошка есть?

– Какая тут картошка... – но глаза «спекулянтки» уже ощупывают меня. Ощупав меня взглядом и убедившись в моей добропорядочности, «спекулянтка» задает какой-нибудь довольно бессмысленный вопрос:

– А вам картошки надо?..

Потом мы идем куда-нибудь в подворотню, на задворки, где на какой-нибудь кучке тряпья сидит мальчуган или девчонка, а под тряпьем – заветный, со столькими трудностями и риском провезенный в Москву мешочек с картошкой. За картошку я плачу по 5–6 рублей кило...

Хлеба же не было потому, что мои неоднократные попытки использовать все блага пре-словутой карточной системы кончались позорным провалом: я бегал, хлопотал, доставал из разных мест разные удостоверения, торчал в потной и вшивой очереди и карточном бюро, получал карточки и потом ругался с женой³², по экономически-хозяйственной инициативе которой затевалась вся эта волынка.

Я вспоминаю газетные заметки о том, с каким «энтузиазмом» приветствовал пролетариат эту самую карточную систему в России; «энтузиазм» извлекается из самых, казалось бы, безнадежных источников... Но карточная система организована была действительно остроумно.

Мы все трое – на советской работе и все трое имеем карточки. Но моя карточка прикреплена к распределителю у Земляного вала, карточка жены – к распределителю на Тверской и карточка сына – где-то у Разгуляя³³. Это – раз. Второе: по карточке, кроме хлеба, получаю еще и сахар по 800 гр. в месяц. Талоны на остальные продукты имеют чисто отвлеченное значение и никого ни к чему не обязывают.

³² Солоневич Тамара Владимировна (урожд. Воскресенская, по второму мужу – Пршевозны) (24.04.1894, Одесса – 03.02.1938, София) – первая жена И. Л. Солоневича; работала в берлинском торгпредстве СССР переводчицей (1928–1931), в 1932 г., оформив фиктивный брак с немецким подданным, уехала в Германию; присоединилась к Ивану, Борису и Юрию Солоневичам в Болгарии; автор воспоминаний «Записки советской переводчицы» (София, 1937) и «Три года в берлинском торгпредстве» (София, 1938), переведенных на иностранные языки.

³³ Историческое название одного из районов Москвы.

Так вот попробуйте на московских трамваях объехать все эти три кооператива, постоять в очереди у каждого из них и по меньшей мере в одном из трех получить ответ, что хлеб уже весь вышел, будет к вечеру или завтра. Говорят, что сахару нет. На днях будет. Эта операция повторяется раза три-четыре, пока в один прекрасный день вам говорят:

– Ну что ж вы вчера не брали? Вчера сахар у нас был.

– А когда будет в следующий раз?

– Да все равно эти карточки уже аннулированы. Надо было вчера брать.

И все – в порядке. Карточки у вас есть? – Есть.

Право на два фунта сахару вы имеете? – Имеете.

А что вы этого сахару не получили – ваше дело. Не надо было зевать...

Я не помню случая, чтобы моих нервов и моего характера хватало больше чем на неделю такой волокиты. Я доказывал, что за время, ухлопанное на всю эту идиотскую возню, можно заработать в два раза больше денег, чем все эти паршивые, нищие советские обеды стоят на вольном рынке. Что для человека вообще и для мужчины в частности, ей-богу, менее позорно схватить кого-нибудь за горло, чем три часа стоять бараном в очереди и под конец получить издевательский шиш.

После вот таких поездок приезжаешь домой в состоянии ярости и бешенства. Хочется по дороге набить морду какому-нибудь милиционеру, который приблизительно в такой же степени, как и я, виноват в этом раздувшемся на одну шестую часть земного шара кабаке, или устроить вооруженное восстание. Но так как бить морду милиционеру – явная бессмыслица, а для вооруженного восстания нужно иметь, по меньшей мере, оружие, то оставалось прибегать к излюбленному оружию рабов – к жульничеству.

Я с треском рвал карточки и шел в какой-нибудь «Инснаб».

О морали

Я не питаю никаких иллюзий насчет того, что комбинация с «Инснабом» и другие в этом же роде – имя им – легион – не были жульничеством. Не хочу вскармливать на этих иллюзиях и читателя.

Некоторым оправданием для меня может служить то обстоятельство, что в Советской России так делали и делают все – начиная с государства. Государство за мою более или менее полноценную работу дает мне бумажку, на которой написано, что цена ей – рубль и даже что этот рубль обменивается на золото. Реальная же цена этой бумажки – немногим больше копейки, несмотря на ежедневный курсовой отчет «Известий», в котором эта бумажка упорно фигурирует в качестве самого всамделишного полноценного рубля. В течение 17 лет государство если и не всегда грабит меня, то уж обжуливает систематически, изо дня в день. Рабочего оно обжуливает больше, чем меня, а мужика – больше, чем рабочего. Я пропитываюсь «Инснабом» и не голодаю, рабочий ворует на заводе и – все же голодает, мужик таскается по ночам по своему собственному полю с ножиком или ножницами в руках, стрижет колосья – и совсем уже мрет с голоду. Мужик, ежели он попадетсЯ, рискует или расстрелом, или минимум, «при смягчающих вину обстоятельствах», десятью годами концлагеря (закон от 7 августа 32 г.). Рабочий рискует тремя – пятью годами концлагеря или минимум – исключением из профсоюза. Я рискую минимум – одним неприятным разговором и максимум – несколькими неприятными разговорами. Ибо никакой «широкой общественно-политической кампанией» мои хождения в «Инснаб» не предусмотрены.

Легкомысленный иностранец может упрекнуть и меня, и рабочего, и мужика в том, что, «обжуливая государство», мы сами создаем свой собственный голод. Но и я, и рабочий, и мужик отдаем себе совершенно ясный отчет в том, что государство – это отнюдь не мы, а государство – это мировая революция. И что каждый украденный у нас рубль, день работы, сноп хлеба пойдут в эту самую бездонную прорву мировой революции: на китайскую красную армию, на английскую забастовку, на германских коммунистов, на откорм коминтерновской шпаны. Пойдут на военные заводы пятилетки, которая строится все же в расчете на войну за мировую революцию. Пойдут на укрепление того же дикого партийно-бюрократического кабака, от которого стоном стонем все мы.

Нет, государство – это не я. И не мужик, и не рабочий. Государство для нас – это совершенно внешняя сила, насильственно поставившая нас на службу совершенно чуждым нам целям. И мы от этой службы изворачиваемся как можем.

Теория всеобщего надувательства

Служба же эта заключается в том, чтобы мы возможно меньше ели и возможно больше работали во имя тех же бездонных универсально-революционных appetitov. Во-первых, не евши, мы вообще толком работать не можем: одни – потому, что нет сил, другие – потому, что голова занята поисками пропитания. Во-вторых, партийно-бюрократический кабак, нацеленный на мировую революцию, создает условия, при которых толком работать совсем уж нельзя. Рабочий выпускает брак, ибо вся система построена так, что брак является его почти единственным продуктом; о том, как работает мужик – видно по неизбывному советскому голоду. Но тема о советских заводах и советских полях далеко выходит за рамки этих очерков. Что же касается лично меня, то и я поставлен в такие условия, что не жульничать я никак не могу.

Я работаю в области спорта – и меня заставляют разрабатывать и восхвалять проект гигантского стадиона в Москве. Я знаю, что для рабочей и прочей молодежи нет элементарнейших спортивных площадок, что люди у лыжных станций стоят в очереди часами, что стадион этот имеет единственное назначение – пустить пыль в глаза иностранцев, обжудить иностранную публику размахом советской физической культуры. Это делается для мировой революции. Я – против стадиона, но я не могу ни протестовать, ни уклониться от него.

Я пишу очерки о Дагестане – из этих очерков цензура выбрасывает самые отдаленные намеки на тот весьма существенный факт, что весь плоскостной Дагестан вымирает от малярии³⁴, что вербовочные организации вербуют туда людей (кубанцев и украинцев) приблизительно на верную смерть... Конечно, я не пишу о том, что золота, которое тоннами идет на революцию во всем мире и на социалистический кабак в одной стране, не хватило на покупку нескольких килограммов хинина для Дагестана... И по моим очеркам выходит, что на Шипке все замечательно спокойно и живописно³⁵. Люди едут, приезжают с малярией и говорят мне вещи, от которых надо бы краснеть...

Я еду в Киргизию и вижу там неслыханное разорение киргизского скотоводства, неопи-сываемый даже для Советской России кабак животноводческих совхозов, концентрационные лагеря на реке Чу, цыганские таборы оборванных и голодных кулацких семейств, выселенных сюда из Украины. Я чудом уношу свои ноги от киргизского восстания, а киргизы зарезали бы меня как барана и имели бы весьма веские основания для этой операции – я русский и из Москвы. Для меня это было бы очень невеселое похмелье на совсем уж чужом пиру, но какое дело киргизам до моих политических взглядов?

И обо всем этом я не могу написать ни слова. А не писать – тоже нельзя. Это значит – поставить крест над всякими попытками литературной работы и, следовательно, – надо всякими возможностями заглянуть в глубь страны и собственными глазами увидеть, что там делается. И я вру.

Я вру, когда работаю переводчиком с иностранцами. Я вру, когда выступаю с докладами о пользе физической культуры, ибо в мои тезисы обязательно вставляются разговоры о том, как буржуазия запрещает рабочим заниматься спортом и т. п. Я вру, когда составляю статистику советских физкультурников – целиком и полностью высосанную мною и моими сотоварищами по работе из всех наших пальцев, – ибо «верхи» требуют крупных цифр, так сказать, для экспорта за границу...

³⁴ И. Л. Солоневич поместил по этому поводу статью в журнале «Медицинский работник» (1931. № 32–33) под названием «Дагнаркомздрав борется с малярией кабинетным порядком».

³⁵ «На Шипке все спокойно» – название картины В. В. Верещагина, взятое художником из официальных донесений генерала Ф. Ф. Радецкого, который во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. посылал свои донесения о том, что «на Шипке все спокойно», тогда, когда его отряд находился в критическом положении; перен. – ироническое выражение в адрес того, кто скрывает, приукрашивает невыгодное, опасное положение.

Это все вещи похуже пяти килограмм икры из иностранного распределителя. Были вещи и еще похуже... Когда сын болел тифом и мне нужен был керосин, а керосина в городе не было, – я воровал этот керосин в военном кооперативе, в котором служил в качестве инструктора³⁶. Из-за двух литров керосина, спрятанных под пальто, я рисковал расстрелом (военный кооператив). Я рисковал своей головой, но в такой же степени я готов был свернуть каждую голову, ставшую на дороге к этому керосину. И вот, крадучись с этими двумя литрами, торчавшими у меня из-под пальто, я наталкиваюсь нос к носу с часовым. Он понял, что у меня керосин и что этого керосина трогать не следует. А что было бы, если бы он этого не понял?..

У меня перед революцией не было ни фабрик, ни заводов, ни имений, ни капиталов. Я не потерял ничего такого, что можно было бы вернуть, как, допустим, в случае переворота, можно было бы вернуть дом. Но я потерял 17 лет жизни, которые безвозвратно и бессмысленно были ухлопаны в этот сумасшедший дом советских принудительных работ во имя мировой революции, в жульничество, которое диктовалось то голодом, то чрезвычайкой, то профсоюзом – а профсоюз иногда не многим лучше чрезвычайки. И, конечно, даже этими семнадцатью годами я еще дешево отделался. Десятки миллионов заплатили всеми годами своей жизни, всей своей жизнью...

Временами появлялась надежда на то, что на российских просторах, удобренных миллионами трупов, обогащенных годами нечеловеческого труда и нечеловеческой плюшкинской экономии, взойдут наконец ростки какой-то человеческой жизни. Эти надежды появлялись до тех пор, пока я не понял с предельной ясностью – все это для мировой революции, но не для страны.

Семнадцать лет накапливалось великое отвращение. И оно росло по мере того, как рос и совершенствовался аппарат давления. Он уже не работал, как паровой молот, дробящими и слышными на весь мир ударами. Он работал, как гидравлический пресс, сжимая неслышно и сжимая на каждом шагу, постепенно охватывая этим давлением абсолютно все стороны жизни...

Когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны – это еще терпимо. Но когда от вас под угрозой того же револьвера требуют, кроме штанов, еще и энтузиазма, – жить становится вовсе невозможно, захлестывает отвращение.

Вот это отвращение толкнуло нас к финской границе.

³⁶ В 1922–1923 гг. И. Л. Солоневич работал в кооперативе 51-й дивизии в Одессе.

Техническая ошибка

Долгое время над нашими попытками побега висело нечто вроде фатума, рока, невезенья – называйте как хотите. Первая попытка была сделана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и разведку местности. Я предварительно поехал в Карелию, вооруженный, само собою разумеется, соответствующими документами, и выяснил там приблизительно все, что мне нужно было. Но благодаря некоторым чисто семейным обстоятельствам мы не смогли выехать раньше конца сентября – время для Карелии совсем неподходящее, и перед нами встал вопрос: не лучше ли отложить все это предприятие до следующего года.

Я справился в московском бюро погоды – из его сводок явствовало, что весь август и сентябрь в Карелии стояла исключительно сухая погода, не было ни одного дождя. Следовательно, угроза со стороны карельских болот отпадала, и мы двинулись.

Московское бюро погоды оказалось, как в сущности следовало предполагать заранее, *советским* бюро погоды. В августе и сентябре в Карелии шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо суток вязли и тонули в них и с великим трудом и риском выбирались обратно. Побег был отложен на июнь 1933 г.

8 июня 1933 года, рано утром, моя *belle-soeur*³⁷ Ирина³⁸ поехала в Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявил, что у него какие-то боли в животе. Борис ощупал Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицит. Борис поехал в Москву «отменять билеты», я вызвал еще двух врачей, и к полудню все сомнения рассеялись: аппендицит. Везти сына в Москву, в больницу, на операцию по жутким подмосковным ухабам я не рискнул. Предстояло выждать конца припадка и потом делать операцию. Но во всяком случае побег был сорван второй раз. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная – продовольствие, документы, оружие и пр. – все было сорвано. Психологически это был жестокий удар, совершенно непредвиденный и неожиданный удар, свалившийся, так сказать, совсем непосредственно от судьбы. Точно кирпич на голову...

Побег был отложен на начало сентября – ближайший срок поправки Юры после операции.

Настроение было подавленное. Трудно было идти на такой огромный риск, имея позади две так хорошо подготовленные и все же сорвавшиеся попытки. Трудно было потому, что откуда-то из подсознания бесформенной, но давящей тенью выползло смутное предчувствие, суеверный страх перед новым ударом, ударом неизвестно с какой стороны.

Наша основная группа – я, сын, брат и жена брата – были тесно спаянной семьей, в которой каждый друг в друге был уверен. Все были крепкими, хорошо тренированными людьми, и каждый мог положиться на каждого. Пятый участник группы был более или менее случаен: старый бухгалтер Степанов (фамилия вымышленна)³⁹, у которого за границей, в одном из лимит-

³⁷ Свояченица (*фр.*).

³⁸ Пеллингер Ирина Францисковна (1903, Киев – 17.09.1938, Магаданская обл.) – жена Б. Л. Солоневича; на момент побега работала врачом по физкультуре в одном из московских диспансеров; как показывал на следствии И. Л. Солоневич, решила бежать за границу исключительно из-за своего мужа; в следственном деле в отношении участников группы И. Л. Солоневича обвинялась в контрреволюционной пропаганде и нелегальном переходе границы; отбыв наказание, была снова арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности (1936) и расстреляна (1938).

³⁹ Имеется в виду Никитин Степан Никитич (1883, Печоры Псковской губ. —?); на момент побега работал разъездным бухгалтером по колхозам Московской области, а ранее – главным кассиром берлинского торгпредства СССР вместе с женой И. Л. Солоневича; в Эстонии (которой с 1920 г. стал принадлежать, в частности, и гор. Печоры, переименованный в Петсери) жили два его родных брата – это и стало основным мотивом побега; в следственном деле обвинялся в контрреволюционной пропаганде и шпионаже; дальнейшая судьба неизвестна.

рофов⁴⁰, осталась вся его семья и все его родные, а здесь, в СССР, потеряв жену, он остался один как перст. Во всей организации побега он играл чисто пассивную роль, так сказать, роль багажа. В его честности мы были уверены точно так же, как и в его робости.

Но кроме этих пяти непосредственных участников побега о проекте знал еще один человек – и вот именно с этой стороны и пришел удар.

В Петрограде жил мой очень старый приятель, Иосиф Антонович⁴¹. И у него была жена г-жа Е.⁴², женщина из очень известной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бывает большинство женщин, считающих себя великими дипломатками.

За три недели до нашего отъезда в моей салтыковской голубятне, как снег на голову, появляется г-жа Е., в сопровождении мистера Бабенко⁴³. Мистера Бабенко я знал по Питеру – в квартире Иосифа Антоновича он безвылазно пьянствовал года три подряд.

Я был удивлен этим неожиданным визитом, и я был еще более удивлен, когда г-жа Е. стала просить меня захватить с собой и ее. И не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ее женихом или мужем, или почти мужем – кто там разберет при советской простоте нравов.

Это еще не был удар, но это уже была опасность. При нашем нервном состоянии, взвинченном двумя годами подготовки, двумя годами неудач, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имела г-жа Е. посвящать м-ра Бабенко в наш проект без всякой санкции с нашей стороны? А что Бабенко был посвящен – стало ясно, несмотря на все отпирательства г-жи Е.

В субъективной лояльности г-жи Е. мы не сомневались. Но кто такой Бабенко? Если он сексот, – мы все равно никуда не уедем и никуда не уйдем. Если он не сексот, – он будет нам очень полезен: бывший артиллерийский офицер, человек с прекрасным зрением и прекрасной ориентировкой в лесу. А в Карелии, с ее магнитными аномалиями и ненадежностью работы компаса, ориентировка в странах света могла иметь огромное значение. Его охотничьи и лесные навыки мы проверили, но в его артиллерийском прошлом оказалась некоторая неясность.

Зашел разговор об оружии, и Бабенко сказал, что он в свое время много тренировался на фронте в стрельбе из нагана и что на пятьсот шагов он довольно уверенно попадал в цель величиной с человека.

Этот «наган» подействовал на меня как удар обухом. На пятьсот шагов наган вообще не может дать прицельного боя, и этого обстоятельства бывший артиллерийский офицер не мог не знать.

В стройной биографии Николая Артемьевича Бабенки образовалась дыра, и в эту дыру хлынули все наши подозрения...

Но что нам было делать? Если Бабенко – сексот, то все равно мы уже «под стеклышком», все равно где-то здесь же в Салтыковке, по каким-то окнам и углам, торчат ненавистные нам агенты ГПУ, все равно каждый наш шаг – уже под контролем...

⁴⁰ От *лат.* *limitrophus* (пограничный) – в 1920–1930-е гг. так называли государства, образовавшиеся после событий 1917 г. на западной границе бывшей Российской империи (Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия).

⁴¹ Имеется в виду Пржиялговский Иосиф Антонович (1886, Тельши Ковенской губ. —?), которого И. Л. Солоневич знал с юношеских лет и у которого останавливался, когда приезжал в Ленинград в командировки; И. Л. Солоневич в своих показаниях характеризует И. А. Пржиялговского так: «...около 45 лет, окончательный алкоголик, настроен явно антисоветски» (л. 88).

⁴² Имеется в виду Пржиялговская Елена Леонардовна (1888, дер. Инкерт Виленской губ. —?) – жена И. А. Пржиялговского; на момент побега не работала; в следственном деле обвинялась в контрреволюционной пропаганде и шпионаже; Е. Л. Пржиялговская обладала имением на родине, в Литве, и этот факт явился основным мотивом побега; И. Л. Солоневич характеризует ее в своих показаниях так: «Е [лена] Л [еонардовна] всегда производила на меня впечатление властолюбивой, мелочно-хитрой и очень неправдивой женщины» (л. 91об.); дальнейшая судьба неизвестна.

⁴³ Автор несколько преувеличивает – в своих показаниях датой приезда Е. Л. Пржиялговской и Н. А. Бабенко он называет начало июня 1933 г.

С другой стороны, какой смысл Бабенке выдавать нас? У г-жи Е. в Польше – весьма солидное имение, Бабенко – жених г-жи Е., и это имение, во всяком случае, привлекательнее тех тридцати советских сребренников, которые Бабенко, может быть, получит – а может быть, и не получит – за предательство...

Это было очень тяжелое время неоформленных подозрений и давящих предчувствий. В сущности, с очень большим риском и с огромными усилиями, но мы еще имели возможность обойти ГПУ: ночью уйти из дому в лес и пробираться к границе, но уже персидской, а не финской и уже без документов и почти без денег.

Но... мы поехали. У меня было ощущение, точно я еду в какой-то похоронной процессии, а покойники – это все мы.

В Питере нас должен был встретить Бабенко и присоединиться к нам. Поездка г-жи Е. отпала, так как у нее появилась возможность легального выезда через «Интурист»⁴⁴. Бабенко встретил нас и очень быстро и ловко устроил нам плац-пересадочные билеты до ст. Шуйская Мурманской ж. д.

Я не думаю, чтобы кто бы то ни было из нас находился во вполне здравом уме и твердой памяти. Я как-то вяло отметил в уме и «оставил без последствий» тот факт, что вагон, на который Бабенко достал плацкарты, был последним, в хвосте поезда, что какими-то странными были номера плацкарт – вразбивку: 3-й, 6-й, 8-й и т. д., что главный кондуктор без всякой к этому необходимости заставил нас рассестись «согласно взятым плацкартам», хотя мы договорились с пассажирами о перемене мест. Да и пассажиры были странноваты...

Вечером мы все собрались в одном купе. Бабенко разливал чай, и после чаю я, уже давно страдавший бессонницей, заснул как-то странно быстро, точно в омут провалился...

Я сейчас не помню, как именно я это почувствовал... Помню только, что я резко рванулся, отбросил какого-то человека к противоположной стенке купе, человек глухо стукнулся головой об стенку, что кто-то повис на моей руке, кто-то цепко обхватил мои колени, какие-то руки сзади судорожно вцепились мне в горло – а прямо в лицо уставились три или четыре револьверных дула.

Я понял, что все кончено. Точно какая-то черная молния вспыхнула невидимым светом и осветила все – и Бабенко с его странной теорией баллистики, и странные номера плацкарт, и тех 36 пассажиров, которые в личинах инженеров, рыбаков, бухгалтеров, железнодорожников, едущих в Мурманск, в Кемь, в Петрозаводск, составляли, кроме нас, все население вагона.

Вагон был наполнен шумом борьбы, тревожными криками чекистов, истерическим визгом Степушки, чьим-то раздирающим уши стоном... Вот почтенный «инженер» тычет мне в лицо кольцом, кольцо дрожит в его руках, инженер приглушенно, но тоже истерически кричит: «Руки вверх, руки вверх, говорю я вам!»

Приказание – явно бессмысленное, ибо в мои руки вцепилось человека по три на каждую и на мои запястья уже надета «восьмерка» – наручники, тесно сковывающие одну руку с другой... Какой-то вчерашний «бухгалтер» держит меня за ноги и вцепился зубами в мою штанину. Человек, которого я отбросил к стене, судорожно вытаскивает из кармана что-то блестящее... словно все купе оцетинилось стволами наганов, кольтов, браунингов...⁴⁵

Мы едем в Питер в том же вагоне, что и выехали. Нас просто отцепили от поезда и прицепили к другому. Вероятно, вне вагона никто ничего и не заметил.

⁴⁴ Впоследствии, уже здесь, за границей, я узнал, что к этому времени г-жа Е. была уже арестована. – Прим. авт. Е. Л. Пржиялговская была арестована 13 сентября 1933 г.

⁴⁵ Это произошло 9 сентября 1933 г.

Я сижу у окна. Руки распухли от наручников, кольца которых оказались слишком узкими для моих запястий. В купе, ни на секунду не спуская с меня глаз, посменно дежурят чекисты – по три человека на дежурство. Они изысканно вежливы со мной. Некоторые знают меня лично. Для охоты на столь «крупного зверя», как мы с братом, ГПУ, по-видимому, мобилизовало половину тяжелоатлетической секции ленинградского «Динамо». Хотели взять нас живьем и по возможности неслышно.

Сделано, что и говорить, чисто, хотя и не без излишних затрат. Но что для ГПУ значат затраты? Не только отдельный «салон-вагон», и целый поезд могли для нас подставить.

На полке лежит уже ненужное оружие. У нас были две двустолки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины – маленький браунинг, который Юра контрабандой привез из-за границы... В лесу, с его радиусом видимости в 40–50 метров, это было бы очень серьезным оружием в руках людей, которые бьются за свою жизнь. Но здесь, в вагоне, мы не успели за него даже и хватиться.

Грустно – но уже все равно. Жребий был брошен, и игра проиграна вчистую...

В вагоне распоряжается тот самый толстый «инженер», который тыкал мне кольт в физиономию. Зовут его Добротин. Он разрешает мне под очень усиленным конвоем пойти в уборную, и, проходя через вагон, я обмениваюсь деланной улыбкой с Борисом, с Юрой... Все они, кроме Ирины, тоже в наручниках. Жалобно смотрит на меня Степушка. Он считал, что на предательство со стороны Бабенки – один шанс на сто. Вот этот один шанс и выпал...

Здесь же и тоже в наручниках сидит Бабенко с угнетенной невинностью в бегающих глазах... Господи, кому при такой роскошной мизансцене нужен такой дешевый маскарад!...⁴⁶

Поздно вечером во внутреннем дворе ленинградского ГПУ Добротин долго ковыряется ключом в моих наручниках и никак не может открыть их. Руки мои превратились в подушки. Борис, уже раскованный, разминает кисти рук и иронизирует: «Как это вы, товарищ Добротин, при всей вашей практике, до сих пор не научились с восьмерками справляться?»

Потом мы прощаемся с очень плохо деланным спокойствием. Жму руку Бобу. Ирочка целует меня в лоб. Юра старается не смотреть на меня, жмет мне руку и говорит:

– Ну что ж, Ватик... До свидания... В четвертом измерении...

Это его любимая и весьма утешительная теория о метампсихозе⁴⁷ в четвертом измерении; но голос не выдает уверенности в этой теории.

Ничего, Юрчишка. Бог даст – и в третьем встретимся...

Стоит совсем пришибленный Степушка – он едва ли что-нибудь соображает сейчас. Вокруг нас плотным кольцом выстроились все 36 захвативших нас чекистов, хотя между нами и волей – циклопические железобетонные стены тюрьмы ОГПУ, тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что советская власть строит прочно и в расчете на долгое, очень долгое время.

Я подымаюсь по каким-то узким бетонным лестницам. Потом целый лабиринт коридоров. Двухчасовой обыск. Одиночка. Четыре шага вперед, четыре шага назад. Бессонные ночи. Лязг тюремных дверей...

И ожидание.

⁴⁶ Н. А. Бабенко действительно оказался сексотом; подтверждением этому служит тот факт, что ни обвиняемым, ни свидетелем в следственном деле он не является.

⁴⁷ Теория переселения душ.

Допросы

В коридорах тюрьмы – собачий холод и образцовая чистота. Надзиратель идет сзади меня и командует: налево... вниз... направо... Полы устланы половиками. В циклопических стенах – глубокие ниши, ведущие в камеры. Это – корпус одиночек...

Издали, из-за угла коридора, появляется фигура какого-то заключенного. Ведущий его надзиратель что-то командует, и заключенный исчезает в нише. Я только мельком вижу безмерно исхудавшее обросшее лицо. Мой надзиратель командует:

– Проходите и не оглядывайтесь в сторону.

Я все-таки искоса оглядываюсь. Человек стоит лицом к двери, и надзиратель заслоняет его от моих взоров. Но это – незнакомая фигура...

Меня вводят в кабинет следователя, и я, к своему изумлению, вижу Добротина, восседающего за огромным министерским письменным столом⁴⁸.

Теперь его руки не дрожат; на круглом, хорошо откормленном лице – спокойная и даже благожелательная улыбка.

Я понимаю, что у Добротина есть все основания быть довольным. Это он провел всю операцию, пусть несколько театрально, но втихомолку и с успехом. Это он поймал вооруженную группу, это у него на руках какое ни на есть, а все же настоящее дело, а ведь не каждый день, да, пожалуй, и не каждый месяц ГПУ, даже ленинградскому, удастся из чудовищных куч всяческой провокации, липы, халтуры, инсценировок, доносов, «романов» и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно «жемчужное зерно» настоящей контрреволюции, да еще и вооруженной.

Лицо Добротина лоснится, когда он приподымается, протягивает мне руку и говорит:

– Садитесь, пожалуйста, Иван Лукьянович...

Я сажусь и всматриваюсь в это лицо, как хотите, а все-таки победителя. Добротин протягивает мне папиросу, и я закуриваю. Я не курил уже две недели, и от папиросы чуть-чуть кружится голова.

– Чаю хотите?

Я, конечно, хочу и чаю... Через несколько минут приносят чай, настоящий чай, какого «на воле» нет, с лимоном и с сахаром.

– Ну-с, Иван Лукьянович, – начинает Добротин, – вы, конечно, прекрасно понимаете, что нам все, решительно все известно. Единственная правильная для вас политика – это карты на стол.

Я понимаю, что какие тут карты на стол, когда все карты и без того уже в руках Добротина. Если он не окончательный дурак – а предполагать это у меня нет решительно никаких оснований, – то, помимо бабенковских показаний, у него есть показания г-жи Е. и, что еще хуже, показания Степушки. А что именно Степушка с переполоху мог наворотить – этого наперед и хитрый человек не придумает.

Чай и папиросы уже почти совсем успокоили мою нервную систему. Я почти спокоен. Я могу спокойно наблюдать за Добротиным, расшифровывать его интонации и строить какие-то планы самозащиты – весьма эфемерные планы, впрочем...

– Я должен вас предупредить, Иван Лукьянович, что вашему существованию непосредственной опасности не угрожает. В особенности если вы последуете моему совету. Мы – не мясники. Мы не расстреливаем преступников, гораздо более опасных, чем вы. Вот, – тут Добротин сделал широкий жест по направлению к окну. Там, за окном, во внутреннем дворе ГПУ, еще достраивались новые корпуса тюрьмы. – Вот тут работают люди, которые были пригово-

⁴⁸ Фамилия следователя не вымышлена.

рены даже к расстрелу, и тут они своим трудом очищают себя от прежних преступлений перед советской властью. Наша задача – не карать, а исправлять...

Я сижу в мягком кресле, курю папиросу и думаю о том, что это дипломатическое вступление решительно ничего хорошего не предвещает. Добротин меня обхаживает. А это может означать только одно: на базе бесспорной и известной ГПУ и без меня фактической стороны нашего дела Добротин хочет создать какую-то «надстройку», раздуть дело, запутать в него кого-то еще. Как и кого именно – я еще не знаю.

– Вы, как разумный человек, понимаете, что ход вашего дела зависит прежде всего от вас самих. Следовательно, от вас зависят и судьбы ваших родных – вашего сына, брата... Поверьте мне, что я не только следователь, но и человек. Это, конечно, не значит, что вообще следователи – не люди... Но ваш сын еще так молод...

Ну-ну, думаю я, не ГПУ, а какая-то воскресная проповедь.

– Скажите, пожалуйста, товарищ Добротин, вот вы говорите, что не считаете нас опасными преступниками... К чему же тогда такой, скажем, расточительный способ ареста? Отдельный вагон, почти четыре десятка вооруженных людей...

– Ну, знаете, вы – не опасны с точки зрения советской власти. Но вы могли быть очень опасны с точки зрения безопасности нашего оперативного персонала... Поверьте, о ваших атлетических достижениях мы знаем очень хорошо. И так ваш брат сломал руку одному из наших работников.

– Что это – отягчающий момент?

– Э нет, пустяки. Но если бы наших работников было бы меньше, он переломал бы кости им всем... Пришлось бы стрелять... Отчаянный парень ваш брат.

– Неудивительно. Вы его лет восемь по тюрьмам таскаете за здорово живешь...

– Во-первых, не за здорово живешь... А во-вторых, конечно с нашей точки зрения, ваш брат едва ли поддается исправлению... О его судьбе вы должны подумать особенно серьезно. Мне будет очень трудно добиться для него... более мягкой меры наказания. Особенно если вы мне не поможет.

Добротин кидает на меня взгляд в упор, как бы ставя этим взглядом точку над каким-то невысказанным «i». Я понимаю – в переводе на общепонятный язык это все значит: или вы подпишете все, что вам будет приказано, или...

Я еще не знаю, что именно мне будет приказано. По всей вероятности, я этого не подпишу... И тогда?

– Мне кажется, товарищ Добротин, что все дело – совершенно ясно и мне только остается письменно подтвердить то, что вы и так знаете.

– А откуда вам известно, что именно мы знаем?

– Помилуйте, у вас есть Степанов, г-жа Е., «вещественные доказательства» и, наконец, у вас есть товарищ Бабенко.

При имени Бабенко Добротин слегка улыбается.

– Ну у Бабенки есть еще и своя история – по линии вредительства в Рыбпроме.

– Ага, так это он так заглаживает вредительство?

– Послушайте, – дипломатически намекает Добротин, – следствие ведь веду я, а не вы...

– Я понимаю. Впрочем, для меня дело так же ясно, как и для вас.

– Мне не все ясно. Как, например, вы достали оружие и документы?

Я объясняю: я, Юра и Степанов – члены союза охотников, следовательно, имели право держать охотничьи, гладкоствольные ружья. Свою малокалиберную винтовку Борис спер в осоавиахимовском⁴⁹ тире. Браунинг Юра привез из-за границы. Документы – все совершенно

⁴⁹ Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству – массовая добровольная общественная организация в СССР в 1927–1948 гг., предшественница ДОСААФ; в последнее перед побегом время Б. Л. Солоневич

легальны, официальны и получены таким же легальным и официальным путем – там-то и там-то.

Добротин явственно разочарован. Он ждал чего-то более сложного, чего-то, откуда можно было бы вытянуть каких-нибудь соучастников, разыскать какие-нибудь «нити» и вообще развести всякую пинкертоновщину. Он знает, что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку – в СССР очень трудная вещь и далеко не всякому удастся. Я рассказываю, как мы с сыном участвовали в разных экспедициях: в Среднюю Азию, в Дагестан, Чечню и т. д., и что под этим соусом я вполне легальным путем получил оружие. Добротин пытается выудить хоть какие-нибудь противоречия из моего рассказа, я пытаюсь выудить из Добротина хотя бы приблизительный остов тех «показаний», какие мне будут предложены. Мы оба терпим полное фиаско.

– Вот что я вам предложу, – говорит наконец Добротин. – Я отдам распоряжение доставить в вашу камеру бумагу и прочее, и вы сами изложите все показания, не скрывая решительно ничего. Еще раз напоминаю вам, что от вашей откровенности зависит все.

Добротин опять принимает вид рубахи-парня, и я решаюсь воспользоваться моментом:

– Не можете ли вы, вместе с бумагой, приказать доставить мне хоть часть того продовольствия, которое у нас было отобрано?

Голодая в одиночке, я не без вожделения в сердце своем вспоминал о тех запасах сала, сахара, сухарей, которые мы везли с собой и которые сейчас жрали какие-то чекисты...

– Знаете, Иван Лукьянович, это будет трудно. Администрация тюрьмы не подчинена следственным властям. Кроме того, ваши запасы, вероятно, уже съедены... Знаете ли, скоропортящиеся продукты...

– Ну скоропортящиеся мы и сами могли бы съесть...

– Да... Вашему сыну я передал кое-что, – врал Добротин (ничего он не передал). – Постараюсь и вам. Вообще я готов идти вам навстречу и в смысле режима, и в смысле питания... Надеюсь, что и вы...

– Ну конечно. И в ваших, и в моих интересах покончить со всей этой канителью возможно скорее, чем бы она ни кончилась...

Добротин понимает мой намек.

– Уверяю вас, Иван Лукьянович, что ничем особенно страшным она кончиться не может... Ну пока, до свиданья.

Я подымаюсь со своего кресла и вижу: рядом с креслом Добротина из письменного стола выдвинута доска, и на доске крупнокалиберный кольт со взведенным курком.

Добротин был готов к менее великосветскому финалу нашей беседы...

Степушкин роман

Вежливость – качество, приятное даже в палаче. Конечно, очень утешительно, что мне не тыкали в нос наганом, не инсценировали расстрела. Но, во-первых, это до поры до времени, и, во-вторых, допрос не дал решительно ничего нового. Весь разговор – совсем впустую. Никаким обещаниям Добротина я, конечно, не верю, как не верю его крокодиловым вздыханиям по поводу юриной молодости. Юру, впрочем, вероятно, посадят в концлагерь. Но что из того? За смерть отца и дяди он ведь будет мстить – он не из тихих мальчиков. Значит, тот же расстрел – только немного попозже. Степушка, вероятно, отделается дешевле всех. У него одного не было никакого оружия, он не принимал никакого участия в подготовке побега. Это – старый, затрушенный и вполне аполитичный грассбух. Кому он нужен – абсолютно одинокий, от всего оторванный человек, единственная вина которого заключалась в том, что он, рискуя жизнью, пытался пробраться к себе домой, на родину, чтобы там доживать свои дни...

Я наскоро пишу свои показания и жду очередного вызова, чтобы узнать, где кончится следствие как таковое и где начнутся попытки выжать из меня «роман».

Мои показания забирает коридорный надзиратель и относит к Добротину. Дня через три меня вызывают на допрос.

Добротин встречает меня так же вежливо, как и в первый раз, но лицо его выражает разочарование.

– Должен вам сказать, Иван Лукьянович, что ваша писанина никуда не годится. Это все мы и без вас знаем. Ваша попытка побега нас очень мало интересует. Нас интересует ваш шпионаж.

Добротин бросает это слово как какой-то тяжелый метательный снаряд, который должен сбить меня с ног и выбить из моего, очень относительного конечно, равновесия. Но я остаюсь равнодушным. Вопросительно и молча смотрю на Добротина.

Добротин «пронизывает меня взглядом». Техническая часть этой процедуры ему явственно не удастся. Я курю добротинскую папироску и жду...

– Основы вашей «работы» нам достаточно полно известны, и с вашей стороны, Иван Лукьянович, было бы даже, так сказать... неумно эту работу отрицать. Но целый ряд отдельных нитей нам неясен. Вы должны нам их выяснить...

– К сожалению, ни насчет основ, ни насчет нитей ничем вам помочь не могу.

– Вы, значит, собираетесь отрицать вашу «работу».

– Самым категорическим образом. И преимущественно потому, что такой работы и в природе не существовало.

– Позвольте, Иван Лукьянович. У нас есть наши агентурные данные, у нас есть копии с вашей переписки. У нас есть показания Степанова, который во всем сознался...

Я уже потом, по дороге в лагерь, узнал, что со Степушкой обращались далеко не так великосветски, как со всеми нами. Тот же самый Добротин, который вот сейчас прямо лоснится от корректности, стучал кулаком по столу, крыл его матом, тыкал ему в нос кольцом и грозил «пристрелить как дохлую собаку». Не знаю, почему именно как дохлую...

Степушка наворотил. Наворотил совершенно жуткой чепухи, запутав в ней и людей, которых он знал, и людей, которых он не знал. Он перепугался так, что стремительность его «показаний» прорвала все преграды элементарной логики, подхватила за собой Добротина и Добротин в этой чепухе утоп.

Что он утоп, мне стало ясно после первых же минут допроса. Его «агентурные данные» не стоили двух копеек; слежка за мной, как оказалось, была, но ничего путного и выслеживать не было; переписка моя, как оказалось, перлюстрировалась вся, но и из нее Добротин ухитрился выкопать только факты, разбивающие его собственную или, вернее, степушкину теорию. Оста-

валась одна эта «теория» или, точнее, остов «романа», который я должен был облечь плотью и кровью, закрепить всю эту чепуху своей подписью, и тогда на руках у Добротина оказалось бы настоящее дело, на котором, может быть, можно было бы сделать карьеру и в котором увязло бы около десятка решительно ни в чем не повинных людей.

Если бы вся эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соответственно с человеческим мышлением, выбраться из нее было бы нелегко. Как-никак знакомства с иностранцами у меня были. Связь с заграницей была. Все это само по себе уже достаточно предосудительно с советской точки зрения, ибо не только заграницу, но и каждого отдельного иностранца советская власть отгораживает китайской стеной от зрелища советской нищеты, а советского жителя – от буржуазных соблазнов.

Я до сих пор не знаю, как именно конструировался остов этого романа. Мне кажется, что степушкин переполох вступил в социалистическое соревнование с добротинским рвением и из обоих и в отдельности не слишком хитрых источников получился совсем уж противоестественный убудок. В одну нелепую кучу были свалены и Юрины товарищи по футболу, и та английская семья⁵⁰, которая приезжала ко мне в Салтыковку на weekend⁵¹, и несколько знакомых журналистов⁵², и мои поездки по России, и все что хотите. Здесь не было никакой ни логической, ни хронологической увязки. Каждая «улика» вопиюще противоречила другой, и ничего не стоило доказать всю полную логическую бессмыслицу всего этого «романа».

Но что было бы, если бы я ее доказал?

В данном виде – это было варево, несъедобное даже для неприхотливого желудка ГПУ. Но если бы я указал Добротину на самые зияющие несообразности, – он устранил бы их, и в коллегиях ОГПУ пошел бы обвинительный акт, не лишенный хоть некоторой, самой отдаленной, доли правдоподобия. Этого правдоподобия было бы достаточно для создания нового «дела» и для ареста новых «шпионов».

И я очень просто говорю Добротину, что я – по его же словам – человек разумный и что именно поэтому я не верю ни в его обещания, ни в его угрозы, что вся эта пинкертоновщина со шпионами – несусветимый вздор и что вообще никаких показаний на эту тему я подписывать не буду. Что можно было перепугать Степанова и поймать его на какую-нибудь очень дешевую удочку, но что меня на такую удочку никак не поймать⁵³.

Добротин как-то сразу осекается, его лицо на один миг перекашивается яростью, и из-под лоснящейся поверхности хорошо откормленного и благодушно-корректного, если хотите, даже слегка европеизированного «следователя» мелькает оскал чекистских челюстей.

– Ах, так вы – так...

– Да, я – так...

Мы несколько секунд смотрим друг на друга в упор.

– Ну мы вас заставим сознаться...

⁵⁰ Скорее всего, под «английской семьей», обозначенной так из соображений конспирации, имеются в виду сотрудник германского посольства Вирт и его жена – в своих показаниях И. Л. Солоневич не скрывает фактов общения с ними, в т. ч. упоминая об их визитах к нему в Салтыковку; именно Вирт, с которым И. Л. Солоневич познакомился через свою жену, стал ключевой фигурой обвинения И. Л. Солоневича в шпионаже.

⁵¹ Уик-энд (англ.).

⁵² Так, например, в следственном деле И. Л. Солоневич дает показания на Анатолия Яковлевича Канторовича (1896 – [1937]) и Евгения Александровича Гнедина (1898–1983), в то время работавших в «Известиях» и входивших в круг общения И. Л. Солоневича, а также на Зиновия Яковлевича Эпштейна, через которого он с ними познакомился.

⁵³ Следственное дело действительно формировалось на основе показаний С. Н. Никитина, которого допрашивали раньше всех – 11 сентября (первый допрос И. Л. Солоневича по сути дела состоялся 16 сентября) – и который рассказал все, что знал. И. Л. Солоневич же и писал показания собственноручно, и подписывал написанное следователем; но он только повторял и подтверждал то, что обозначил С. Н. Никитин. В показаниях С. Н. Никитина следователь сумел найти то, что можно было бы квалифицировать как шпионаж. Необходимо также отметить и тот факт, что практически все нужные следствию показания – о враждебном отношении к советской власти, «шпионской» деятельности и т. п. – написаны следователем Добротиным и подписаны И. Л. Солоневичем.

– Очень маловероятно...

По лицу Добротина видна, так сказать, борьба стилей. Он сбился со своего европейского стиля и почему-то не рискует перейти к обычному чекистскому: то ли ему не приказано, то ли он побаивается: за три недели тюремной голодовки я не очень уже ослаб физически, и терять мне нечего. Разговор заканчивается совсем уж глупо:

– Вот видите, – раздраженно говорит Добротин. – А я для вас даже выхлопотал сухарей из вашего запаса.

– Что же, вы думали купить сухарями мои показания?

– Ничего я не думал покупать. Забирайте ваши сухари. Можете идти в камеру.

Синедрион⁵⁴

На другой же день меня снова вызывают на допрос. На этот раз Добротин – не один. Вместе с ним – еще каких-то три следователя, видимо чином значительно повыше. Один – в чекистской форме и с двумя ромбами в петлице⁵⁵. Дело идет всерьез.

Добротин держится пассивно и в тени. Допрашивают те трое. Около пяти часов идут бесконечные вопросы о всех моих знакомых, снова выплывает уродливый, нелепый остов степушкиного детективного романа, но на этот раз уже в новом варианте. Меня в шпионаже уже не обвиняют. Но граждане X, Y, Z и прочие занимались шпионажем, и я об этом не могу не знать. О Степушкином шпионаже тоже почти не заикаются, весь упор делается на нескольких моих иностранных и не иностранных знакомых. Требуется, чтобы я подписал показания, их изобличающие, и тогда... опять разговоров о молодости моего сына, о моей собственной судьбе, о судьбе брата. Намеки на то, что мои показания весьма существенны «с международной точки зрения», что, ввиду дипломатического характера всего этого дела, имя мое нигде не будет названо. Потом намеки – и весьма прозрачные – на расстрел для всех нас трех, в случае моего отказа, и т. д., и т. д.

Часы проходят, я чувствую, что допрос превращается в конвейер. Следователи то выходят, то приходят. Мне трудно разобрать их лица. Я сижу на ярко освещенном месте, в кресле, у письменного стола. За столом – Добротин, остальные – в тени, у стены огромного кабинета, на каком-то диване.

Провратиться я не могу – хотя бы просто потому, что я решительно ничего не выдумываю. Но этот многочасовой допрос, это огромное нервное напряжение временами уже завлакивает сознание какой-то апатией, каким-то безразличием. Я чувствую, что этот конвейер надо остановить.

– Я вас не понимаю, – говорит человек с двумя ромбами. – Вас в активном шпионаже мы не обвиняем. Но какой вам смысл топить себя, выгораживая других. Вас они так не выгораживают...

Что значит глагол «не выгораживают» – и еще в настоящем времени? Что – эти люди или часть из них уже арестованы? И, действительно, «не выгораживают» меня? Или просто – это новый трюк?

Во всяком случае – конвейер надо остановить.

Со всем доступным мне спокойствием и со всей доступной мне твердостью я говорю приблизительно следующее:

– Я – журналист и, следовательно, достаточно опытный в советских делах человек. Я не мальчик и не трус. Я не питаю никаких иллюзий относительно своей собственной судьбы и судьбы моих близких. Я ни на одну минуту и ни на одну копейку не верю ни обещаниям, ни увещеваниям ГПУ – весь этот роман я считаю форменным вздором и убежден в том, что таким же вздором считают его и мои следователи: ни один мало-мальски здравомыслящий человек ничем иным и считать его не может. И что, ввиду всего этого, я никаких показаний не только подписывать, но и вообще давать не буду.

– То есть как это вы не будете? – вскакивает с места один из следователей – и замолкает... Человек с двумя ромбами медленно подходит к столу, зажигает папиросу и говорит:

⁵⁴ Высшее государственное учреждение и судилище евреев в Иерусалиме, осудившее Иисуса Христа.

⁵⁵ Некий Германов, начальник 7-го отделения экономического отдела постоянного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе.

– Ну что ж, Иван Лукьянович, – вы сами подписали ваш приговор!.. И не только ваш. Мы хотели дать вам возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дело. Можете идти...

Я встаю и направляюсь к двери, у которой стоит часовой.

– Если надумаетесь, – говорит мне вдогонку человек с двумя ромбами, – сообщите вашему следователю... Если не будет поздно...

– Не надумаюсь...

Но когда я вернулся в камеру, я был совсем без сил. Точно вынули что-то самое ценное в жизни и голову наполнили бесконечной тьмой и отчаянием. Спас ли я кого-нибудь в реальности? Не отдал ли я брата и сына на расправу этому человеку с двумя ромбами? Разве я знаю, какие аресты произведены в Москве, и какие методы допросов были применены, и какие романы плетутся или сплетены там. Я знаю, я твердо знаю, знает моя логика, мой рас-судок, знает весь мой опыт, что я правильно поставил вопрос. Но откуда-то со дна сознания подымается что-то темное, что-то почти паническое – и за всем этим кудрявая голова сына, развороченная выстрелом из револьвера на близком расстоянии...

Я забрался с головой под одеяло, чтобы ничего не видеть, чтобы меня не видели в этот глазок, чтобы не подстерегли минуты упадка.

Но дверь лязгнула, в камеру вбежали два надзирателя и стали стаскивать одеяло. Чего они хотели, я не догадался, хотя я знал, что существует система медленного, но довольно верного самоубийства: перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерия передавлена, наступает сон, потом смерть. Но я уже оправился.

– Мне мешает свет.

– Все равно, голову закрывать не полагается...

Надзиратели ушли – но волчок поскрипывал всю ночь...

Приговор

Наступили дни безмолвного ожидания. Где-то там, в гигантских и беспощадных зубцах ГПУской машины, вертится стопка бумаги с пометкой: «дело № 2248»⁵⁶. Стопка бежит по каким-то роликам, подхватывается какими-то шестеренками... Потом подхватит ее какая-то одна, особенная шестеренка, и вот придут ко мне и скажут: «собирайте вещи»...

Я узнаю, в чем дело, потому что они придут не вдвоем и даже не втроем. Они придут ночью. У них будут револьверы в руках, и эти револьверы будут дрожать больше, чем дрожал кольт в руках Добротина в вагоне № 13.

Снова – бесконечные бессонные ночи. Тускло с середины потолка подмигивает электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночек, лишь изредка прерываемая чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрезанность от всего мира. Ощущенье человека, похороненного заживо.

Так проходят три месяца.

Рано утром, часов в шесть, в камеру входит надзиратель. В руке у него какая-то бумажка.
– Фамилия?

– Солоневич, Иван Лукьянович...

– Выписка из постановления чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО от 28 ноября 1933 года.

У меня чуть-чуть замирает сердце, но в мозгу – уже ясно: это не расстрел. Надзиратель один и без оружия.

...Слушали: дело № 2248 гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, по обвинению его в преступлениях, предусмотренных статьями 58 пункт 6; 58 пункт 10; 58 пункт 11 и 59 пункт 10...⁵⁷

Постановили: признать гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, виновным в преступлениях, предусмотренных указанными статьями, и заключить его в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Распишитесь...

Надзиратель кладет бумажку на стол, текстом книзу. Я хочу лично прочесть приговор и записать номер дела, дату и пр. Надзиратель не позволяет. Я отказываюсь расписаться. В конце концов он уступает.

Уже потом, в концлагере, я узнал, что это – обычная манера объявления приговора (впрочем, крестьянам очень часто приговора не объявляют вовсе). И человек попадает в лагерь, не зная или не помня номера дела, даты приговора, без чего всякие заявления и обжалования почти невозможны и что в высокой степени затрудняет всякую юридическую помощь заключенным...

⁵⁶ Настоящий номер следственного дела – 6632–33 г.

⁵⁷ Автор не совсем точен – ему было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 58 п. 6) и контрреволюционной пропаганде (ст. 58 п. 10) со следующей формулировкой: «...занимался шпионской деятельностью в пользу Германии, являясь антисоветски настроенным, организовал к [онтр]-р [еволюционную] группу лиц, поставившую своей целью дважды вооруженный нелегальный переход границы СССР. Имея непосредственную связь через германского сотрудника посольства Вирт – переотправлял ценности и материалы своей жене в Германию с тем, чтобы при переходе границы приступить путем использования их в печати к компрометации Советского Союза» (лл. 178–179); как ни парадоксально, обвинение в нелегальном переходе границы (ст. 59 п. 10) предъявлено не было, и статья, карающая за это преступление, была добавлена уже в самом приговоре; по статье 58 пункт 11 (принадлежность к контрреволюционным организациям и группам) И. Л. Солоневич не обвинялся.

Итак – восемь лет концентрационного лагеря. Путевка на восемь лет каторги, но все-таки не путевка на смерть...

Охватывает чувство огромного облегчения. И в тот же момент в мозгу вспыхивает целый ряд вопросов: отчего такой милостивый приговор, даже не 10, а только 8 лет? Что с Юрой, Борисом, Ириной, Степушкой? И в конце этого списка вопросов – последний, как удастся очередная – которая по счету? – попытка побега. Ибо если мне и советская воля была невтерпеж, то что же говорить о советской каторге?

На вопрос об относительной мягкости приговора у меня ответа нет и до сих пор. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что мы не подписали никаких доносов и не написали никаких романов. Фигура «романиста», как бы его ни улещали во время допроса, всегда остается нежелательной фигурой, конечно, уже после окончательной редакции романа. Он уже написал все, что от него требовалось, а потом, из концлагеря, начнет писать заявления, опровержения, покаяния. Мало ли какие группировки существуют в ГПУ? Мало ли кто может друг друга подсиживать? От романиста проще отделаться совсем: мавр сделал свое дело и мавр может отправляться ко всем чертям. Документ остается, и опровергать его уже некому. Может быть, меня оставили жить оттого, что ГПУ не удалось создать крупное дело? Может быть, – благодаря признанию Советской России Америкой? Кто его знает – отчего.

Борис, значит, тоже получил что-то вроде 8–10 лет концлагеря. Исходя из некоторой пропорциональности вины и прочего, можно было бы предполагать, что Юра отделается какой-нибудь высылкой в более или менее отдаленные места. Но у Юры были очень плохи дела со следователем. Он вообще от всяких показаний отказался⁵⁸, и Добротин мне о нем говорил: «Вот тоже ваш сын, самый молодой и самый жуковатый»... Степушка своим романом мог себе очень сильно напортить...

В тот же день меня переводят в пересыльную тюрьму на Нижегородской улице...

⁵⁸ Автор заблуждается или сознательно искажает факты – в следственном деле есть показания Ю. И. Солоневича.

В пересылке

Огромные каменные коридоры пересылки переполнены всяческим народом. Сегодня – «большой прием». Из провинциальных тюрем прибыли сотни крестьян, из Шпалерки – рабочие, урки (профессиональный уголовный элемент) и – к моему удивлению – всего несколько человек интеллигенции. Я издали замечаю всклокоченный чуб Юры, и Юра устремляется ко мне, уже издали показывая пальцами «три года»⁵⁹. Юра исхудал почти до неузнаваемости – он, оказывается, объявил голодовку в виде протеста против недостаточного питания... Мотив, не лишенный оригинальности... Здесь же и Борис – тоже исхудавший, обросший бородами и уже поглощенный мыслью о том, как бы нам всем попасть в одну камеру. У него, как и у меня, – восемь лет⁶⁰, но в данный момент все эти сроки нас совершенно не интересуют. Все живы – и то слава богу...

Борис предпринимает ряд таинственных манипуляций, а часа через два – мы все в одной камере, правда одиночке, но сухой и светлой и, главное, без всякой посторонней компании. Здесь мы можем крепко обняться, обменяться всем пережитым и... обмозговать новые планы побега.

В этой камере мы как-то быстро и хорошо обжились. Все мы были вместе и пока что – вне опасности. У всех нас было ощущение выздоровления после тяжелой болезни, когда силы прибывают и когда весь мир кажется ярче и чище, чем он есть на самом деле. При тюрьме оказалась старенькая библиотека. Нас ежедневно водили на прогулку... Сначала трудно было ходить: ноги ослабели и подгибались. Потом, после того, как первые передачи влили новые силы в наши ослабевшие мышцы, Борис как-то предложил:

– Ну теперь давайте тренироваться в беге. Дистанция – икс километров: Совдепия – заграница...

На прогулку выводили сразу камер десять. Ходили по кругу, довольно большому, диаметром метров в сорок, причем каждая камера должна была держаться на расстоянии десяти шагов одна от другой. Не нарушая этой дистанции, нам приходилось бегать почти «на месте», но мы все же бегали... «Прогульщик» – тот чин тюремной администрации, который надзирает за прогулкой, смотрел на нашу тренировку скептически, но не вмешивался... Рабочие подсмеивались. Мужики смотрели недоуменно... Из окон тюремной канцелярии на нас взирали изумленные лица... А мы все бегали...

«Прогульщик» стал смотреть на нас уже не скептически, а даже несколько сочувственно.

– Что, спортсмены? – спросил он как-то меня.

– Чемпион России, – кивнул я в сторону Бориса.

– Вишь ты, – сказал «прогульщик»...

На следующий день, когда прогулка уже кончилась и вереница арестантов потянулась в тюремные двери, он нам подмигнул:

– А ну, валяйте по пустому двору...

Так мы приобрели возможность тренироваться более или менее всерьез... И попали в лагерь в таком состоянии физической fitness⁶¹, которое дало нам возможность обойти много острых и трагических углов лагерной жизни.

⁵⁹ Автор искажает факты – Ю. И. Солоневич был осужден на два года по обвинению в контрреволюционной пропаганде и нелегальном переходе границы.

⁶⁰ Б. Л. Солоневич обвинялся в шпионаже и контрреволюционной пропаганде; статья, карающая за нелегальный переход границы, была добавлена в приговоре.

⁶¹ Пригодность, соответствие (англ.).

Рабоче-крестьянская тюрьма

Это была «рабоче-крестьянская» тюрьма в буквальном смысле этого слова. Сидя в одиночке на Шпалерке, я не мог составить себе никакого представления о социальном составе населения советских тюрем. В пересылке мои возможности несколько расширились. На прогулку выводили человек от 50 до 100 одновременно. Состав этой партии менялся постоянно – одних куда-то усылали, других присылали, – но за весь месяц нашего пребывания в пересылке мы оставались единственными интеллигентами в этой партии – обстоятельство, которое для меня было несколько неожиданным.

Больше всего было крестьян – до жути изголодавшихся и каких-то по-особенному пришибленных... Иногда, встречаясь с ними где-нибудь в темном углу лестницы, слышишь придушенный шепот:

– Братец, а братец... хлеба бы... корочку... а?..

Много было рабочих – те имели чуть-чуть менее голодный вид и были лучше одеты. И, наконец, мрачными фигурами, полными окончательного отчаяния и окончательной безысходности, шагали по кругу «знатные иностранцы»⁶²...

Это были почти исключительно финские рабочие, теми или иными, но большей частью нелегальными, способами перебравшиеся в страну строящегося социализма, на «родину всех трудящихся»... Сурово их встретила эта родина. Во-первых, ей и своих трудящихся деть было некуда, во-вторых, и чужим трудящимся неохота показывать своей нищеты, своего голода и своих расстрелов... А как выпустить обратно этих чужих трудящихся, хотя бы одним уголком глаза уже увидевших советскую жизнь не из окна спального вагона.

И вот месяцами они маячат здесь по заколдованному кругу пересылки (сюда сажали и следственных, но не срочных заключенных) без языка, без друзей, без знакомых, покинув волю своей не пролетарской родины и попав в тюрьму – пролетарской.

Эти пролетарские иммигранты в СССР – легальные, полулегальные и вовсе нелегальные – представляют собою очень жалкое зрелище... Их привлекла сюда та безудержная коммунистическая агитация о прелестях социалистического рая, которая была особенно характерна для первых лет пятилетки и для первых надежд, возлагавшихся на эту пятилетку. Предполагался бурный рост промышленности и большая потребность в квалифицированной рабочей силе, предполагался «небывалый рост благосостояния широких трудящихся масс» – многое предполагалось. Пятилетка пришла и прошла. Оказалось, что и своих собственных рабочих девать некуда, что пред страной – в добавление к прочим прелестям – стала угроза массовой безработицы, что от «благосостояния» массы ушли еще дальше, чем до пятилетки. Правительство стало выжимать из СССР и тех иностранных рабочих, которые приехали сюда по договорам, и которым нечем было платить, и которых нечем было кормить. Но агитация продолжала действовать. Тысячи неудачников-идеалистов, если хотите, идеалистических карасей, поперли в СССР всякими не очень легальными путями и попали в щучьи зубы ОГПУ...

Можно симпатизировать и можно не симпатизировать политическим убеждениям, толкнувшим этих людей сюда. Но не жалеть этих людей нельзя. Это – не та коминтерновская шпана, которая едет сюда по всяческим, иногда тоже не очень легальным, визам советской власти, которая отдыхает в Крыму, на Минеральных Водах, которая объедает русский народ «Инснэбами», субсидиями и просто подачками... Они, эти идеалисты, бежали от «буржуазных акул» к своим социалистическим братьям... И эти братья первым делом скрутили им руки и бросили их в подвалы ГПУ...

⁶² Словосочетание из произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» (1863).

Эту категорию людей я встречал в самых разнообразных местах Советской России, в том числе и у финляндской границы в Карелии, откуда их на грузовиках и под конвоем ГПУ волокли в Петрозаводск, в тюрьму... Это было в селе Койкоры⁶³, куда я пробрался для разведки насчет бегства от социалистического рая, а они бежали в этот рай... Они были очень голодны, но еще больше придавлены и растеряны... Они видели еще очень немного, но и того, что они видели, было достаточно для самых мрачных предчувствий насчет будущего... Никто из них не знал русского языка, и никто из конвоиров не знал ни одного иностранного. Поэтому мне удалось на несколько минут втиснуться в их среду в качестве переводчика. Один из них говорил по-немецки. Я переводил, под пронизательными взглядами полудюжины чекистов, буквально смотревших мне в рот. Финн плохо понимал по-немецки, и приходилось говорить очень внятно и раздельно... Среди конвоиров был один еврей, он мог кое-что понимать по-немецки, и лишнее слово могло бы означать для меня концлагерь...

Мы стояли кучкой у грузовика... Из-за изб на нас выглядывали перепуганные карельские крестьяне, которые шарахались от грузовика и от финнов как от чумы – перекинешься двумя-тремя словами, а потом – бог его знает, что могут «пришить». Финны знали, что местное население понимает по-фински, и мой собеседник спросил, почему к ним никого из местных жителей не пускают. Я перевел вопрос начальнику конвоя и получил ответ:

– Это не ихнее дело.

Финн спросил, нельзя ли достать хлеба и сала... Наивность этого вопроса вызвала хохот у конвоиров. Финн спросил, куда их везут. Начальник конвоя ответил: «сам увидит» и предупредил меня: «только вы лишнего ничего не переводите»... Финн растерялся и не знал, что и спрашивать больше.

Арестованных стали сажать в грузовик. Мой собеседник бросил мне последний вопрос: – Неужели буржуазные газеты говорили правду?

И я ему ответил словами начальника конвоя – увидите сами. И он понял, что увидеть ему предстоит еще очень много.

В концентрационном лагере ББК я не видел ни одного из этих дружественных иммигрантов. Впоследствии я узнал, что всех их отправляют подальше: за Урал, на Караганду, в Кузбасс – подальше от соблазна нового бегства – бегства возвращения на свою старую и несоциалистическую родину.

⁶³ Правильное название села – Койкары.

Умывающие руки

Однако самое приятное в пересылке было то, что мы наконец могли завязать связь с волей, дать знать о себе людям, для которых мы четыре месяца тому назад как в воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свидания.

Но с этой связью дело обстояло довольно сложно: мы не питерцы, и по моей линии в Питере было только два моих старых товарища. Один из них, Иосиф Антонович, муж г-жи Е., явственно сидел где-то рядом с нами, но другой был на воле, вне всяких подозрений ГПУ и вне всякого риска, что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение: такая масса людей сидит по тюрьмам, что, если поарестовывать их родственников и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россию. *Nomina sunt odiosa*⁶⁴ – назовем его «профессором Костей»⁶⁵. Когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его, почти беспризорного мальчика, он кончил гимназию и университет. Сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге, жил тихой кабинетной мышью. Он несколько раз проводил свои московские командировки у меня, в Салтыковке, и у меня с ним была почти постоянная связь.

И еще была у нас в Питере двоюродная сестра⁶⁶. Я и в жизни ее не видал, Борис встречался с нею давно и мельком; мы только знали, что она, как и всякая служащая девушка в России, живет нищенски, работает каторжно и, почти как и все они, каторжно работающие и нищенски живущие, болеет туберкулезом. Я говорил о том, что эту девушку не стоит и загружать хождением на передачи и свидание, а что вот Костя – так от кого же и ждать-то помощи, как не от него.

Юра к Косте вообще относился весьма скептически, он не любил людей, окончательно выхолащенных от всякого протеста... Мы послали по открытке – Косте и ей.

Как мы ждали первого дня свиданья! Как мы ждали этой первой за четыре месяца лазейки в мир, в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших, то мечтали о почти невероятном – о том, что мы все-таки как-то еще живы! Как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда!..

Когда голодаешь этак по-ленински – долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает странное значение. Сидя на тюремном пайке, я как-то не мог себе представить с достаточной ясностью и убедительностью, что вот лежит передо мной кусок хлеба, а я есть не хочу, и я его не съем. Хлеб занимал командные высоты в психике – унижительные высоты.

В первый же день свиданий в камеру вошел дежурный.

– Который тут Солоневич?

– Все трое...

Дежурный изумленно воззрился на нас.

– Эка вас расплодилось. А который Борис? На свидание...

Борис вернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ: здесь было фунта три хлебных огрызков, фунтов пять вареного картофеля в мундирах, две брюквы, две луковицы и несколько кусочков селедки. Это было все, что Катя успела наскребать. Денег у нее, как мы ожидали, не было ни копейки, а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела.

Но картошка... Какое это было пиршество! И как весело было при мысли о том, что наша оторванность от мира кончилась, что панихид по нас служить уже не будут. Все-таки, по сравнению с могилой, и концлагерь – радость.

⁶⁴ Букв. имена ненавистны (*лат.*); перен. – не будем называть имен.

⁶⁵ Имеется в виду Пушкиревич Константин Алексеевич (1890–1942) – филолог, славяновед, старший ученый хранитель Института славяноведения АН СССР (с 1931), старший научный сотрудник Института этнографии АН СССР (с 1939), доктор филологических наук (1940); скончался во время блокады Ленинграда.

⁶⁶ Установить личность не удалось.

Но Кости не было.

К следующему свиданию опять пришла Катя...

Бог ее знает, какими путями и под каким предлогом она удрала со службы, наскребала хлеба, картошки и брюквы, стояла полубольная в тюремной очереди. Костя не только не пришел: на телефонный звонок Костя ответил Кате, что он, конечно, очень сожалеет, но что он ничего сделать не может, так как сегодня же уезжает на дачу.

Дача была выдумана плохо: на дворе стоял декабрь...

Потом, лежа на тюремной койке и перебирая в памяти все эти страшные годы, я думал о том, как «тяжкий млат» голода и террора одних закалил, других раздробил, третьи оказались пришибленными – но пришибленными прочно. Как это я раньше не мог понять, что Костя – из пришибленных.

Сейчас, в тюрьме, видя, как я придавлен этим разочарованием, Юра стал утешать меня – так неуклюже, как это только может сделать юноша 18 лет от роду и 180 сантиметров ростом.

– Слушай, Ватик, неужели же тебе и раньше не было ясно, что Костя не придет и ничего не сделает?... Ведь это же просто – Акакий Акакиевич⁶⁷ по ученой части... Ведь он же, Ватик, трус... У него от одного Катиного звонка душа в пятки ушла... А чтобы прийти на свидание – что ты, в самом деле? Он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом... Я, конечно, понимаю, Ватик, – смягчил Юра свою филиппику, – ну конечно, раньше он, может быть, и был другим, но сейчас...

Да, другим... Многие были иными. Да, сейчас, конечно, – Акакий Акакиевич... Роль знаменитой шубы выполняет дочь, хлипкая истеричка двенадцати лет. Да, конечно, революционный ребенок; ни жиров, ни елки, ни витаминов, ни сказок... Пайковый хлеб и политграмота. Оную же политграмоту, надрываясь от тошноты, читает Костя по всяким рабфакам – кому нужна теперь славянская литература... Тощий и шаткий уют на Васильевском острове... Вечная дрожь: справа – уклон, слева – загиб, снизу – голод, а сверху – просто ГПУ... Оппозиционный шепот за закрытой дверью. И вечная дрожь...

Да, можно понять – как я этого раньше не понял... Можно простить... Но руку – трудно подать. Хотя, разве он один – духовно убиенный революцией? Если нет статистики убитых физически, то кто может подсчитать количество убитых духовно, пришибленных, забитых?

Их много... Но, как ни много их, как ни чудовищно давление, есть все-таки люди, которых пришибить не удалось.

⁶⁷ Акакий Акакиевич Башмачкин – герой повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842); синоним жалкого, забитого человека.

Явление Иосифа

Дверь в нашу камеру распахнулась, и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками, весьма небритое и очень знакомое... Но я не сразу поверил глазам своим...

Небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного:

– Куда же вы, к чертовой матери, меня пихаете? Ведь здесь ни стать, ни сесть...

Но дверь уже захлопнулась.

– Вот сук-к-кины дети, – сказала личность по направлению к двери.

Мои сомнения рассеялись. Невероятно, но факт: это был Иосиф Антонович.

И я говорю таким для вящего изумления равнодушным тоном:

– Ничего, И. А., как-нибудь поместимся.

И. А. нацелился было молотить каблуком в дверь. Но при моих словах его приподнятая было нога мирно стала на пол.

– Иван Лукьянович!.. вот это значит – черт меня раздери. Неужели ты? И Борис? А это, как я имею основания полагать, – Юра. (Юру И. А. не видал 15 лет, немудрено было не узнать).

– Ну пока там что, давай поцелуемся.

Мы по доброму старому российскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами...

– Как ты попал сюда? – спрашиваю я.

– Вот тоже дурацкий вопрос, – огрызается И. А. и на меня. – Как попал? Обыкновенно, как все попадают... Во всяком случае, попал из-за тебя, черт тебя дери... Ну это ты потом мне расскажешь. Главное – вы живы. Остальное – хрен с ним. Тут у меня полный мешок всякой жратвы. И папиросы есть...

– Знаешь, И. А., мы пока будем есть, а уж ты рассказывай. Я – за тобой.

Мы присаживаемся за еду. И. А. закуривает папиросу и, мотаясь по камере, рассказывает:

– Ты знаешь, я уже месяцев восемь – в Мурманске⁶⁸. В Питере с начальством разругался вдрызг: они, сукины дети, разворовали больничное белье, а я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать. Ну я плюнул им в рожу и ушел. Перебрался в Мурманск. Место замечательно паршивое, но ответственным работникам дают полярный паек, так что, в общем, жить можно... Да еще в заливе морские окуни водятся – замечательная рыба!.. Я даже о коньках стал подумывать (И. А. в свое время был первоклассным фигуристом). Словом, живу, работы чертова уйма, и вдруг – ба-бах. Сижу вечером дома, ужинаю, пью водку... Являются: разрешите, говорят, обыск у вас сделать?.. Ах вы сукины дети, – еще в вежливость играют. Мы, дескать, не какие-нибудь, мы, дескать, европейцы. «Разрешите»... Ну мне плевать – что у меня можно найти, кроме пустых бутылок? Вы мне, говорю, водку разрешите допить, пока вы там под кроватями ползать будете... Словом, обшарили все, водку я допил, поволокли меня в ГПУ, а оттуда со спец-конвоем – двух идиотов приставили – повезли в Питер⁶⁹. Ну деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали... Я этих идиотов так накачал, что когда приехали на Николаевский⁷⁰ вокзал, прямо деваться некуда, такой дух, что даже прохожие внохиваются. Ну ясно, в ГПУ с таким духом идти нельзя было, мы заскочили на базарник, пожевали чесноку, я позвонил домой сестре...

– Отчего же вы не сбежали? – снаивничал Юра.

– А какого мне, спрашивается, чёрта бежать? Куда бежать? И что я такое сделал, чтобы мне бежать? Единственное, что водку пил... Так за это у нас сажать еще не придумали. Наоборот: казне доход и о политике меньше думают. Словом, притащили на Шпалерку и поса-

⁶⁸ И. А. Пржиялговский работал бухгалтером Окрздравотдела в Мурманске.

⁶⁹ И. А. Пржиялговский содержался под стражей с 12 октября 1933 г.

⁷⁰ Название Московского вокзала в 1855–1923 гг.

дили в одиночку. Сiju и ничего не понимаю. Потом вызывают на допрос – сидит какая-то толстая сволочь...

– Добротин?

– А черт его знает, может, и Добротин... Начинается как обыкновенно: мы все о вас знаем. Очень, говорю, приятно, что знаете, только если знаете, так на какого же чёрта вы меня посадили? Вы, говорит, обвиняетесь в организации контрреволюционного сообщества. У вас бывали такие-то и такие-то, вели такие-то и такие-то разговоры; знаем решительно все – и кто был, и что говорили... Я уж совсем ничего не понимаю... Водку пьют везде и разговоры такие везде разговаривают. Если бы за такие разговоры сажали, в Питере давно бы ни одной живой души не осталось... Потом выясняется: и, кроме того, вы обвиняетесь в пособничестве попытке побега вашего товарища Солоневича⁷¹.

Тут я понял, что вы влипли. Но откуда такая информация о моем собственном доме. Эта толстая сволочь требует, чтобы я подписал показания и насчет тебя, и насчет всяких других моих знакомых. Я ему и говорю, что ни черта подобного я не подпишу, что никакой контрреволюции у меня в доме не было, что тебя я за хвост держать не обязан. Тут этот следовательно начинает крыть матом, грозить расстрелом и тыкать мне в лицо револьвером. Ах ты, думаю, сукин сын! Я восемнадцать лет в Советской России живу, а он еще думает расстрелом, видите ли, меня испугать. Я, знаешь, с ним очень вежливо говорил. Я ему говорю, пусть он тыкает револьвером в свою жену, а не в меня, потому что я ему вместо револьвера и кулаком могу тыкнуть... Хорошо, что он убрал револьвер, а то набил бы я ему морду...

Ну на этом наш разговор кончился. А через месяца два вызывают – и пожалуйста: три года ссылки в Сибирь. Ну в Сибирь так в Сибирь, черт с ними. В Сибири тоже водка есть. Но скажи ты мне, ради бога, И. Л., вот ведь не дурак же ты – как же тебя угораздило попасться этим идиотам?

– Почему же идиотам?

И. А. был самого скептического мнения о талантах ГПУ.

– С такими деньгами и возможностями, какие имеет ГПУ, – зачем им мозги? Берут тем, что четверть Ленинграда у них в шпиках служит... И если вы эту истину зазубрите у себя на носу, – никакое ГПУ вам не страшно. Сажают так, для цифры, для запугивания. А толковому человеку их провести – ни шиша не стоит... Ну так в чем же, собственно, дело?

Я рассказываю, и по мере моего рассказа в лице И. А. появляется выражение чрезвычайного негодования.

– Бабенко! Этот сукин сын, который три года пьянствовал за моим столом и которому я бы ни на копейку не поверил! Ох, какая дура Е. Ведь сколько раз ей говорил, что она – дура: не верит... Воображает себя Меттернихом⁷² в юбке. Ей тоже три года Сибири дали. Думаешь, поумнеет? Ни черта подобного! Говорил я тебе, И. Л., не связывайся ты в таком деле с бабами. Ну черт с ним, со всем этим. Главное, что живы, и потом – не падать духом. Ведь вы же все равно сбежите?

– Разумеется, сбежим.

– И опять за границу?

– Разумеется, за границу. А то куда же?

⁷¹ И. А. Пржиялговский – единственный из фигурантов следственного дела, не участвовавший в попытке побега за границу, – он обвинялся в контрреволюционной пропаганде («на своей квартире в г. Ленинграде устраивал к [онтр]-р [еволюционные] сборища лиц, антисоветски настроенных», «во время сборищ высказывал антисоветские взгляды» и «имел близкую связь с организатором к [онтр]-р [еволюционной] группы Солоневичем, последний неоднократно посещал вышеуказанные сборища» (л. 182)); дальнейшая судьба неизвестна.

⁷² Меттерних Клеменс (1773–1859) – князь, австрийский государственный деятель, дипломат, канцлер Австрии (1821–1848); здесь имеются в виду его выдающиеся дипломатические способности.

– Но за что же меня, в конце концов, выперли? Ведь не за «контрреволюционные» разговоры за бутылкой водки?

– Я думаю, за разговор со следователем.

– Может быть... Не мог же я позволить, чтобы всякая сволочь мне в лицо револьвером тыкала.

– А что, И. А., – спрашивает Юра, – вы в самом деле дали бы ему в морду?

И. А. ошетиливается на Юру:

– А что мне, по-вашему, оставалось бы делать?

Несмотря на годы неистового пьянства, И. А. остался жилистым, как старая рабочая лошадь, и в морду мог бы дать. Я уверен, что дал бы. А пьянствуют на Руси поистине неистово, особенно в Питере, где, кроме водки, почти ничего нельзя купить и где население пьет без прощупу. Так, положим, делается во всем мире: чем глубже нищета и безысходность, тем страшнее пьянство.

– Черт с ним, – еще раз резюмирует нашу беседу И. А., – в Сибирь так в Сибирь. Хуже не будет. Думаю, что везде приблизительно одинаково паршиво...

– Во всяком случае, – сказал Борис, – хоть пьянствовать перестанете.

– Ну это уж извините. Что здесь больше делать порядочному человеку? Воровать? Лизать сталинские пятки? Выслуживаться перед всякой сволочью? Нет, уж я лучше просто буду честно пьянствовать. Лет на пять меня хватит, а там – крышка. Все равно, вы ведь должны понимать, Б. Л., жизни нет... Будь мне тридцать лет, ну туда-сюда. А мне – пятьдесят. Что ж, семьей обзаводиться? Плодить мясо для сталинских экспериментов? Ведь только приедешь домой, сядешь за бутылку, так по крайней мере всего этого кабака не видишь и не вспоминаешь... Бежать с вами? Что я там буду делать?... Нет, Б. Л., самый простой выход – это просто пить.

В числе остальных видов внутренней эмиграции есть и такой, пожалуй, наиболее популярный: уход в пьянство. Хлеба нет, но водка есть везде. В нашей, например, Салтыковке, где жителей тысяч 10, хлеб можно купить только в одной лавчонке, а водка продается в шестнадцати, в том числе и в киосках того типа, в которых при «проклятом царском режиме» торговали газированной водой. Водка дешева, бутылка водки стоит столько же, сколько стоит два кило хлеба, да и в очереди стоять не нужно. Пьют везде. Пьет молодежь, пьют девушки, не пьет только мужик, у которого денег уж совсем нет.

Конечно, никакой статистики алкоголизма в Советской России не существует. По моим наблюдениям, больше всего пьют в Петрограде и больше всего пьет средняя интеллигенция и рабочий молодежь. Уходят в пьянство от принудительной общестственности, от казенного энтузиазма, от каторжной работы, от бесперспективности, от всяческого гнета, от великой тоски по человеческой жизни и от реальностей жизни советской.

Не все. Конечно, не все. Но по какому-то таинственному и уже традиционному русскому заскоку в пьяную эмиграцию уходит очень ценная часть людей... Те, кто, как Есенин, не смог, «задрать штаны, бежать за комсомолом»⁷³. Впрочем, комсомол указывает путь и здесь.

Через несколько дней пришли забрать И. А. на этап.

– Никуда я не пойду, – заявил И. А., – у меня сегодня свидание.

– Какие тут свидания, – заорал дежурный, – сказано – на этап. Собирайте вещи.

– Собирайте сами. А мне вещи должны передать на свидании. Не могу я в таких ботинках зимой в Сибирь ехать.

– Ничего не знаю. Говорю, собирайте вещи, а то вас силой выведут.

– Идите вы к чертовой матери, – вразумительно сказал И. А.

Дежурный исчез и через некоторое время явился с другим каким-то чином повыше.

⁷³ Цитата из стихотворения «Русь уходящая» (1924).

– Вы что позволяете себе нарушать тюремные правила? – стал орать чин.

– А вы не орите, – сказал И. А. и жестом опытного фигуриста поднес к лицу чина свою ногу в старом продранном полуботинке. – Ну? Видите? Куда я, к чёрту, без подошв в Сибирь поеду?..

– Плевать мне на ваши подошвы. Приказываю вам немедленно собирать вещи и идти.

Небритая щетина на верхней губе И. А. грозно стала дыбом.

– Идите вы к чертовой матери, – сказал И. А., усаживаясь на койку. – И позовите кого-нибудь поумнее.

Чин постоял в некоторой нерешительности и ушел, сказав угрожающе:

– Ну сейчас мы вами займемся...

– Знаешь, И. А., – сказал я, – как бы тебе в самом деле не влетело за твою ругань...

– Хрен с ними. Эта сволочь тащит меня за здорово живешь куда-то к чертовой матери, таскает по тюрьмам, а я еще перед ними расшаркиваться буду?.. Пусть попробуют: не всем, а кому-то морду уж набью.

Через полчаса пришел какой-то новый надзиратель.

– Гражданин П., на свиданье...

И. А. уехал в Сибирь в полном походном обмундировании...

Этап

Каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по два этапных поезда в концентрационные лагеря. Но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры, – ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше месяца⁷⁴.

Наконец отправляют и нас. В полутемных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников, идет скрупулезный, бесконечный и, в сущности, никому не нужный обыск. Раздевают до нитки. Мы долго мерзнем на каменных плитах коридора. Потом нас усаживают на грузовики. На их бортах – конвойные красноармейцы с наганами в руках. Предупреждение: при малейшей попытке к бегству – пуля в спину без всяких разговоров...

Раскрываются тюремные ворота, и за ними – целая толпа, почти исключительно женская, человек в пятьсот.

Толпа раздается перед грузовиком, и из нее сразу, взрывом, несутся сотни криков, приветствий, прощаний, имен... Все это превращается в какой-то сплошной нечленораздельный вопль человеческого горя, в котором тонут отдельные слова и отдельные голоса. Все это – русские женщины, изможденные и истощенные, пришедшие и встречать, и провожать своих мужей, братьев, сыновей...

Вот где, поистине, «долюшка русская, долюшка женская»... Сколько женского горя, бессонных ночей, невидимых миру лишений стоит за спиной каждой мужской судьбы, попавшей в зубцы ГПУской машины. Вот и эти женщины. Я знаю – они неделями бегали к воротам тюрьмы, чтобы узнать день отправки их близких. И сегодня они стоят здесь, на январском морозе, с самого рассвета – на этап идет около сорока грузовиков, погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером. И они будут стоять здесь целый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо... Да и лица-то этого, пожалуй, и не увидят: мы сидим, точнее, валяемся на дне кузова и заслонены спинами чекистов, сидящих на бортах...

Сколько десятков и сотен тысяч сестер, жен, матерей вот так быются о тюремные ворота, стоят в бесконечных очередях с «передачами», сэкономленными за счет самого жестокого недоедания! Потом, отрывая от себя последний кусок хлеба, они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал, в карельские леса, в приполярную тундру. Сколько загублено женских жизней, вот этак, мимоходом, прихваченных чекистской машиной...

Грузовик – еще на медленном ходу. Толпа, отхлынувшая было от него, опять смыкается почти у самых колес. Грузовик набирает ход. Женщины бегут рядом с ним, выкрикивая разные имена... Какая-то девушка, растрепанная и заплаканная, долго бежит рядом с машиной, шатаясь, точно пьяная, и каждую секунду рискуя попасть под колеса...

– Миша, Миша, родной мой, Миша!..

Конвоиры орут, потрясая своими наганами:

– Сиди на месте!.. Сиди, стрелять буду!..

Сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки и сколько еще пройдет... Она нелепо пытается схватиться за борт грузовика, один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку. Она падает и исчезает за бегущей толпой...

Как хорошо, что нас никто здесь не встречает... И как хорошо, что этого Миши с нами нет. Каково было бы ему видеть свою любимую, сбитую на мостовую ударом чекистского сапога... И остаться бессильным...

Машины ревут. Люди шарахаются в стороны. Все движение на улицах останавливается перед этой почти похоронной процессией грузовиков. Мы проносимся по улицам «красной

⁷⁴ Извещение о выбытии в лагерь датировано 11 января 1934 г.

столицы» каким-то многоликим олицетворением *memento mori*⁷⁵, каким-то жутким напоминанием каждому, кто еще ходит по тротуарам: сегодня – я, а завтра – ты.

Мы въезжаем на задворки Николаевского вокзала. Эти задворки, по-видимому, специально приспособлены для чекистских погрузочных операций. Большая площадь обнесена колючей проволокой. На углах – бревенчатые вышки с пулеметами. У платформы – бесконечный товарный состав: это наш эшелон, в котором нам придется ехать бог знает куда и бог знает сколько времени.

Эти погрузочные операции как будто должны бы стать привычными и налаженными. Но вместо налаженности – крик, ругань, сутолока, бестолочь. Нас долго перегоняют от вагона к вагону. Все уже заполнено до отказа – даже по нормам чекистских этапов; конвоиры орут, урки ругаются, мужики стонут... Так тыкаясь от вагона к вагону, мы наконец попадаем в какую-то совсем пустую теплушку и врываемся в нее оголтелой и озлобленной толпой.

Теплушка официально рассчитана на 40 человек, но в нее напихивают и 60, и 70. В нашу, как потом выяснилось, было напихано 58; мы не знаем, куда нас везут и сколько времени придется ехать. Если за Урал – нужно рассчитывать на месяц, а то и на два. Понятно, что при таких условиях места на нарах – а их на всех, конечно, не хватит – сразу становятся объектом жестокой борьбы...

Дверь вагона с треском захлопывается, и мы остаемся в полутьме. С правой, по ходу поезда, стороны оба люка забиты наглухо. Оба левых – за толстыми железными решетками... Кажется, что вся эта полутьма от пола до потолка битком набита людьми, мешками, сумками, тряпьем, дикой руганью и дракой. Люди атакуют нары, отталкивая ногами менее удачливых претендентов, в воздухе мелькают тела, слышится мат, звон жестяных чайников, грохот падающих вещей.

Все атакуют верхние нары, где теплее, светлее и чище. Нам как-то удастся протиснуться сквозь живой водопад тел на средние нары. Там – хуже, чем наверху, но все же безмерно лучше, чем остаться на полу посередине вагона...

Через час это столпотворение как-то утихает. Сквозь многочисленные дыры в стенах и в потолке видно, как пробивается в теплушку свет, как январский ветер наметает на полу узенькие полоски снега. Становится зябко при одной мысли о том, как в эти дыры будет дуть ветер на ходу поезда... Посередине теплушки стоит чугунная печурка, изъеденная всеми язвами гражданской войны, военного коммунизма, мешочничества и бог знает чего еще.

Мы стоим на путях Николаевского вокзала почти целые сутки. Ни дров, ни воды, ни еды нам не дают. От голода, холода и усталости вагон постепенно затихает...

Ночь... Лязг буферов!.. Поехали...

Мы лежим на нарах, плотно прижавшись друг к другу. Повернуться нельзя, ибо люди на нарах уложены так же плотно, как дощечки на паркете. Заснуть тоже нельзя. Я чувствую, как холод постепенно пробирается куда-то внутрь организма, как коченеют ноги и застывает мозг. Юра дрожит мелкой, частой дрожью, старается удержать ее и опять начинает дрожать...

– Юрчик, замерзаешь?

– Нет, Ватик, ничего...

Так проходит ночь.

К полудню на какой-то станции нам дали дров – немного и сырых. Теплушка наполнилась едким дымом, тепла прибавилось мало, но стало как-то веселее. Я начинаю разглядывать своих сотоварищей по этапу...

Большинство – это крестьяне. Они одеты во что попало – как их захватил арест. С мужиком вообще стесняются очень мало. Его арестовывают на полевых работах, сейчас же переводят в какую-нибудь уездную тюрьму – страшную уездную тюрьму, по сравнению с которой

⁷⁵ Помни о смерти (лат.).

Шпалерка – это дворец... Там, в этих уездных тюрьмах, в одиночных камерах сидят по 10–15 человек, там действительно негде ни стать, ни сесть, и люди сидят и спят по очереди. Там в день дают 200 грамм хлеба, и мужики, не имеющие возможности получать передачи (деревня – далеко, да и там нечего есть), если и выходят оттуда живыми, то выходят совсем уже привидениями.

Наши этапные мужички тоже больше похожи на привидения. В звериной борьбе за места на нарах у них не хватило сил, и они заползли на пол, под нижние нары, расположились у дверных щелей... Зеленые, оборванные, они робко, взглядами загнанных лошадей, посматривают на более сильных или более оборотистых горожан...

...«В столицах – шум, гремят витии»⁷⁶... Столичный шум и столичные расстрелы дают мировой резонанс. О травле интеллигенции пишет вся мировая печать... Но какая, в сущности, это ерунда, какая мелочь – эта травля интеллигенции... Не помещики, не фабриканты, не профессора оплачивают в основном эти страшные «издержки революции» – их оплачивает мужик. Это он, мужик, дохнет миллионами и десятками миллионов от голода, тифа, концлагерей, коллективизации и закона о «священной социалистической собственности»⁷⁷, от всяких великих и малых строек Советского Союза, от всех этих сталинских хеопсовых пирамид, построенных на его мужичьих костях... Да, конечно, интеллигенции очень туго. Да, конечно, очень туго было и в тюрьме, и в лагере, например, мне... Значительно хуже – большинству интеллигенции. Но в какое сравнение могут идти наши страдания и наши лишения со страданиями и лишениями русского крестьянства, и не только русского, а и грузинского, татарского, киргизского и всякого другого. Ведь вот – как ни отвратительно мне, как ни голодно, ни холодно, каким бы опасностям я ни подвергался и буду подвергаться еще – со мною считались в тюрьме и будут считаться в лагере. Я имею тысячи возможностей выкручиваться – возможностей, совершенно недоступных крестьянину. С крестьянином не считаются вовсе, и никаких возможностей выкручиваться у него нет. Меня – плохо ли, хорошо ли, – но все же судят. Крестьянина и расстреливают, и ссылают или вовсе без суда, или по такому суду, о котором и говорить трудно: я видал такие «суды» – тройка безграмотных и пьяных комсомольцев засуживает семью, в течение двух-трех часов ее разоряет в конец и ликвидирует под корень... Я, наконец, сижу не зря. Да, я враг советской власти, я всегда был ее врагом, и никаких иллюзий на этот счет ГПУ не питало. Но я был нужен, в некотором роде «незаменим», и меня кормили и со мной разговаривали. Интеллигенцию кормят и с интеллигенцией разговаривают. И если интеллигенция садится в лагерь, то только в исключительных случаях «массовых кампаний» она садится за здорово живешь...

Я знаю, что эта точка зрения идет совсем вразрез с установившимися мнениями о судьбах интеллигенции в СССР. Об этих судьбах я когда-нибудь буду говорить подробнее. Но все то, что я видел в СССР – а видел я много вещей, – создало у меня твердое убеждение: лишь в редких случаях интеллигенцию сажают зазря, конечно с советской точки зрения. Она все-таки нужна. Ее все-таки судят. Мужика – много, им хоть пруд пруди, и он совершенно реально находится в положении во много раз худшем, чем он был в самые худшие, в самые мрачные времена крепостного права. Он *абсолютно бесправен*, так же бесправен, как любой раб какого-нибудь африканского царька, так же он нищ, как этот раб, ибо у него нет решительно ничего, чего любой деревенский помпадур не мог бы отобрать в любую секунду, у него нет решительно никаких перспектив и решительно никакой возможности выкарабкаться из этого рабства и этой нищеты...

⁷⁶ Название (первая строка) стихотворения Н. А. Некрасова (1857).

⁷⁷ Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности»; социалистическая собственность объявлялась священной и неприкосновенной, а лица, покушающиеся на нее, – врагами народа.

Положение интеллигенции? Ерунда – положение интеллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизмеримых страданий многомиллионного и действительно многострадального русского мужика. И перед лицом этого океана как-то неловко, как-то язык не поворачивается говорить о себе, о своих лишениях: все это – булавочные уколы. А мужика бьют по черепу дубьем.

И вот сидит «сеятель и хранитель» великой русской земли у щели вагонной двери. Январская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробик снега на его обутую в рваный лапоть ногу. Руки зябко запряты в рукава какой-то лоскутной шинелишки времен мировой войны. Мертвецки посиневшее лицо тупо уставилось на прыгающий огонь печурки. Он весь скомкался, съежился, как бы стараясь стать меньше, незаметнее, вовсе исчезнуть так, чтобы его никто не увидел, не ограбил, не убил...

И вот едет он на какую-то очередную «великую» сталинскую стройку. Ничего строить он не может, ибо сил у него нет... В 1930–31 году такого этапного мужика на Беломорско-Балтийском канале прямо ставили на работы, и он погибал десятками тысяч, так что на «строительном фронте» вместо «пополнений» оказывались сплошные дыры. Санчасть (санитарная часть) ББК догадалась: прибывающих с этапами крестьян раньше, чем посылать на обычные работы, ставили на более или менее «усиленное» питание – и тогда люди гибли от того, что отощавшие желудки не в состоянии были переваривать нормальной пищи. Сейчас их оставляют на две недели в «карантине», постепенно втягивают и в работу, и в то голодное лагерное питание, которое мужику и на воле не было доступно и которое является лукулловым пиршеством⁷⁸ с точки зрения провинциального тюремного пайка. Лагерь – все-таки хозяйственная организация, и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован... Но в чем заинтересован редко грамотный и еще реже трезвый деревенский комсомолец, которому на потоп и разграбление отдано все крестьянство и который и сам-то окончательно очумел от всех вихляний «генеральной линии», от дикого, кабацкого административного восторга бесчисленных провинциальных властей?

⁷⁸ Лукулл (ок. 117 – ок. 56 до н. э.) – римский полководец; славился богатством, роскошью и пирами.

Великое племя ўрок

Нас, интеллигенции, на весь вагон всего пять человек: нас трое, наш горе-романист Степушка, попавший в один с нами грузовик, и еще какой-то ленинградский техник. Мы все приспособились вместе на средней наре. Над нами – группа питерских рабочих; их мне не видно. Другую половину вагона занимает еще десятка два рабочих; они сытее и лучше одеты, чем крестьяне, или, говоря точнее, менее голодны и менее оборваны. Все они спят.

Плотно сбитой стаей сидят у печурки уголовники. Они не то чтобы оборваны – они просто полураздеты, но их выручает невероятная, волчья выносливость бывших беспризорников. Все они – результат жесточайшего естественного отбора. Все, кто не мог выдержать поездок под вагонными осями, ночевки в кучах каменного угля, пропитания из мусорных ям (советских мусорных ям!), – все они погибли. Остались только самые крепкие, по-волчьи выносливые, по-волчьи ненавидящие весь мир – мир, выгнавший их детьми на большие дороги голода, на волчью борьбу за жизнь...

Тепло от печки добирается наконец и до меня, и я начинаю дремать. Просыпаюсь от дикого крика и вижу:

Прислонившись спиной к стенке вагона, бледный, стоит наш техник и тянет к себе какой-то мешок. За другой конец мешка уцепился один из ўрок – плюгавый парнишка, с глазами попавшего в капкан хорька. Борис тоже держится за мешок. Схема ясна: урка спер мешок, техник отнимает, урка не отдает, в расчете на помощь «своих». Борис пытается что-то урегулировать. Он что-то говорит, но в общем гвалте и ругани ни одного слова нельзя разобрать. Мелькают кулаки, поленья и даже ножи. Мы с Юрой пулей выкидываемся на помощь Борису.

Мы втроем представляем собою «боевую силу», с которой приходится считаться и уркам – даже и всей их стае, взятой вместе. Однако плюгавый парнишка цепко и с каким-то отчаянием в глазах держится за мешок, пока откуда-то не раздастся спокойный и властный голос:

– Пустите мешок...

Парнишка отпускает мешок и уходит в сторону, утирая нос, но все же с видом исполненного долга...

Спокойный голос продолжает:

– Ничего, другой раз возьмем так, что и слышать не будете.

Оглядываюсь. Высокий, иссиня-бледный, испитой и, видимо, много и сильно на своем веку битый урка – очевидно, «пахан» – коновод и вождь уголовной стаи. Он продолжает, обращаясь к Борису:

– А вы чего лезете? Не ваш мешок – не ваше дело. А то так и нож ночью можем всунуть... У нас, брат, ни на каких обысках ножей не отберут...

В самом деле – какой-то нож фигурировал над свалкой. Каким путем урки ухитряются фабриковать и проносить свои ножи сквозь все тюрьмы и сквозь все обыски – аллах их знает, но фабрикует и проносят. И я понимаю – вот в такой людской толчее, откуда-то из-за спин и мешков ткнут ножом в бок – и пойдешь доискиваться...

Рабочие сверху сохраняют полный нейтралитет: они-то по своему городскому опыту знают, что значит становиться урочьей стаей поперек дороги. Крестьяне что-то робко и приглушенно ворчат по своим углам... Остаемся мы четверо (Степушка – не в счет) – против 15 ўрок, готовых на все и ничем не рискующих. В этом каторжном вагоне мы как на необитаемом острове. Закон остался где-то за дверями теплушки, закон в лице какого-то конвойного начальника, заинтересованного лишь в том, чтобы мы не сбежали и не передохли в количествах, превышающих некий, мне неизвестный, «нормальный» процент. А что тут кто-то кого-то зарежет – кому какое дело.

Борис поворачивается к пахану:

– Вот тут нас трое: я, брат и его сын. Если кого-нибудь из нас ткнут ножом, – отвечать будете вы...

Урка делает наглое лицо человека, перед которым ляпнули вопиющий вздор. И потом разражается хохотом.

– Ого-го... Отвечать... Перед самим Сталиным... Вот это здорово... Отвечать... Мы тебе, брат, кишки и без ответа выпустим...

Стая урок подхватывает хохот своего пахана. И я понимаю, что разговор об ответственности, о законной ответственности, на этом каторжном робинзоновском острове – пустой разговор. Урки понимают это еще лучше, чем я. Пахан продолжает ржать и тычет Борису в нос сложенные в традиционную эмблему три своих грязных посиневших пальца. Рука пахана сразу попадает в Бобины тиски. Ржанье переходит в вой. Пахан пытается вырвать руку, но это – дело совсем безнадежное. Кое-кто из урок срысывается на помощь своему вождю, но Бобин тыл прикрываем мы с Юрой – и все остаются на своих местах.

– Пусти, – тихо и сдающимся тоном говорит пахан. Борис выпускает его руку. Пахан корчится от боли, держится за руку и смотрит на Бориса глазами, преисполненными боли, злобы и... почтения...

Да, конечно, мы не в девятнадцатом веке. *Faustrecht*⁷⁹. Ну что ж! На нашей полдюжине кулаков – кулаков основательных – тоже можно какое-то право основать.

– Видите ли, товарищ... как ваша фамилия, – возможно спокойнее начинаю я...

– Иди ты к черту с фамилией, – отвечает пахан.

– Михайлов... – раздается откуда-то со стороны...

– Так видите ли, товарищ Михайлов, – говорю я чрезвычайно академическим тоном, – когда мой брат говорил об ответственности, то это, понятно, вовсе не в том смысле, что кто-то там куда-то пойдет жаловаться... Ничего подобного... Но если кого-нибудь из нас троих подколют, то оставшиеся просто... переломают вам кости. И переломают всерьез... И именно – вам... Так что и для вас, и для нас будет спокойнее такими делами не заниматься...

Урка молчит. Он, по уже испытанному ощущению Бобиной длани, понял, что кости будут переломаны совсем всерьез (они, конечно, и были бы переломаны).

Если бы не семейная спаянность нашей «стай» и не наши кулаки, то спаянная своей солидарностью стая урок раздела бы и ограбила бы нас до нитки. Так делается всегда – в общих камерах, на этапах, отчасти и в лагерях, где всякой случайной и разрозненной публике, попавшей в пещеры ГПУ, противостоит спаянная и «классово-солидарная» стая урок. У них есть своя организация, и эта организация давит и грабит.

Впрочем, такая же организация существует и на воле. Только она давит и грабит всю страну...

⁷⁹ «Кулачное» (феодалное) право (нем.).

Дискуссия

Часа через полтора я сижу у печки. Пахан подходит ко мне.

– Ну и здоровый же бугай ваш брат. Чуть руки не сломал. И сейчас еще еле шевелится... Оставьте мне, товарищ Солоневич, бычка (окурок) – страсть курить хочется.

Я принимаю оливковую ветвь мира и достаю свой кисет. Урка крутит собачью ножку и сладострастно затягивается...

– Тоже надо понимать, товарищ Солоневич, собачье наше житье...

– Так что же вы его не бросите?

– А как его бросить? Мы все – беспризорная шатия. От мамкиной цицки – да прямо в беспризорники. Я, прямо говоря, с самого малолетства вор, так вором и помру. А этого супчика, техника-то, мы все равно обрабатываем. Не здесь, так в лагере... Сволочь. У него одного хлеба с пуд будет. Просили по-хорошему – дай хоть кусок. Так он как собака лается...

– Вот еще, вас, сволочей, кормить, – раздается с рабочей полки чей-то внушительный бас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.